

ОЛЕГ ЗАЙОНЧКОВСКИЙ



**СЧАСТЬЕ
ВОЗМОЖНО**

РОМАН
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

ФИНАЛИСТ
«РУССКИЙ БУКЕР»
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЛЕР»

Олег Зайончковский

**Счастье возможно:
роман нашего времени**

«АСТ»

2009

Зайончковский О. В.

Счастье возможно: роман нашего времени /
О. В. Зайончковский — «АСТ», 2009

Проза Олега Зайончковского получила признание легко и сразу – первая его книга «Сергеев и городок» вошла в шорт-листы премий «Русский букер» и «Национальный бестселлер». Его имя твердо прописано на сегодняшней литературной карте. Похоже, и читателям, и критикам нравится его замечательное умение рассказывать истории. В новом романе герой – писатель. Сочинитель чужих судеб, он даже не пытается распутать свою, с поистине буддистским спокойствием наблюдая, как его жена уходит к другому, из тех, что «круче». Негаданно-нечаянно любовный треугольник приобретает странные очертания и победителем оказывается... брошенный муж. «Счастье возможно?»

© Зайончковский О. В., 2009

© АСТ, 2009

Содержание

Я убью тебя	5
Прогулка	9
Едут на дачу	12
Васьково – Москва	16
Счастье возможно	19
Настенька	24
Развод по-риелторски	31
Маринованные орхидеи	39
Кран	46
Перфоратор	50
В постели с риелтором	54
Будка диспетчера	61
«Одноклассники»	65
Норд-ост	69
Лебедь перелетный	72
Бедовый месяц	78
Англичанка	87
Кавказская кухня	91
Собачья площадка	95
Прощание с Замойским	101
Ловушка для Гелендвагена	105
Человек с улицы	112
Лелик, танцуй!	116
Финал	118

Олег Зайончковский

Счастье возможно

Я убью тебя

– Я убью тебя, сволочь! – раздается вроде как из телефонной трубки, только громко.

Решетка кухонной вентиляции в моей квартире действует как старинная неотключаемая радиоточка – она принимается говорить и умолкает, когда ей вздумается. К сожалению, постановку она транслирует круглый год одну и ту же. Правда, я до сих пор не знаю персонажей по имени, потому что обращаются они друг к другу исключительно так: «сволочь», «тварь», «сука», «шлюха»... Эпитетов не перечесать, их больше, чем действующих лиц, и вначале я путался, кто есть кто. С этим у меня вообще проблема: когда я читаю чужие романы или смотрю «толстые» фильмы, то лишь к концу начинаю различать, кого из персонажей как зовут. Жаль бывает – только-только привык, познакомился с действующими лицами, а кино уже кончилось. Зато вентиляционная постановка конца не имеет – хочешь не хочешь начнешь узнавать по одним лишь голосам и набору эпитетов. Сейчас, специально для таких тупых, как я, этот жанр освоило телевидение. Но там, я считаю, дело портит цензура – раз уж взялись показывать, то и нечего ханжеским «пиканьем» глушить самые экспрессивные места в диалогах. У меня на кухне цензуры нет. Можно, конечно, попробовать заткнуть говорящую решетку, но тогда мне и вовсе станет нечем дышать.

Я не знаю их имен, не знаю, как они выглядят, однако думаю о них довольно часто. Когда собственный мой текст, тот, к которому я призван и за который мне платят деньги, – когда этот текст предаст меня, тогда-то моя усталая мысль утекает вместе с дымом моих сигарет в вентиляционную решетку.

Так кто же они – таинственные знакомые незнакомцы, живущие у меня в вентиляции? Это две женщины, судя по всему мать и дочь. «Сукой» и «шлюхой» чаще зовется молодая, а «сволочью» и «вонючей тварью» – та, что постарше, хотя иногда они меняются эпитетами, а возможно, и ролями. Иногда из решетки доносятся еще голоса каких-то мужчин, но эти, мужские, персонажи явно приходящие, и эпитет тут один на всех: «козел». «Живущие в вентиляции» – это, конечно, шутка. На самом деле обитают они в квартире надо мной. Факт этот нетрудно установить, сопоставляя самые яркие места в их диалогах с ударами в мой потолок. «Я убью тебя, сволочь!» – и сейчас же наверху раздается такой стук, что у меня во всей квартире взмаргивает свет. На клавиши компьютера сыплется побелка, пугливая мысль моя вспархивает и беспорядочно мечется, а им хоть бы что. Вопреки всем угрозам они остаются живы и только с еще большим азартом ведут свое нескончаемое сражение. Я не знаю, какое оружие они используют, – может быть, даже поливают друг дружку водой, потому что иногда после их побоища у меня на кухне подмокает левый верхний угол. Между прочим, это хороший повод пойти наверх и познакомиться с милыми дамами поближе. Надо бы так и сделать, но всякий раз, пока я собираюсь с духом, пятно успевает высохнуть.

А вот передачи снизу я слышу, когда открываю шкафчик под раковиной, где у меня стоит мусорное ведро. Идут они из той дыры в полу, в которую уходят канализационные и водопроводные трубы. Там, к счастью, народ живет смиренный, никто никого не убивает, и максимум скандала у них – это по поводу недосоленного супа. С добрым нижним семейством я с удовольствием поменялся бы этажами, но это, к сожалению, из области фантазий. Вообще квартирные обмены для меня большая тема, но о них в другой раз.

Люди, живущие подо мной, и скандальная парочка наверху не догадываются о существовании друг друга. Я – единственное между ними соединительное звено. Так уж в нашем доме

устроено: живем слоями и соседствуем только по горизонтали. Да и к такому соседствованию нас принуждает лишь совместная зона ответственности и обороны: запираемая на ключ площадка-тамбур перед квартирами. Здесь мы знаем по именам, спорим по поводу выставленных за дверь валенок и о том, чья очередь пришла мести эту нашу маленькую, но общую территорию. Нет, я не хочу сказать, что жильцы, обитающие на разных этажах, вовсе друг друга не опознают. В конце концов у всех у нас есть еще одна, общая линия обороны – наша железная подъездная дверь. Совсем уж чужого, пришлого человека мы угадываем и взираем на него строго, если не сказать с подозрением. И все же друг для друга мы, люди разных уровней, остаемся тайной за семью печатями. Да я сам, в который раз встречая в лифте молодую женщину с усталым лицом, думаю: не она ли та «сука», что заликает мне угол кухни? Или солидный мужчина в очках – не он ли придирчивый любитель супа, который говорит у меня из-под раковины?

Порой мне самому кажется странным мое положение. Вот они ничего друг о друге не знают, да и знать, наверное, не хотят, а я знаю, точнее сказать, сочинил про них так много. Я посредине; я, извините за сравнение, словно прокладка, впитывающая чужие интимности. Зачем это мне? Или таково рефлекторное действие моей сочинительской железы, не умеющей прекратить секрецию, даже когда меня настигает сон разума? Ах, если бы железа эта всегда трудилась с пользой...

Между тем мне совершенно нечем ответить своим соседям, развлечь их, когда сами они находятся в паузе. Я безмолвен; мой сериал отшумел с тех пор, как от меня ушла жена. О том, что я живу, можно догадаться лишь по запаху нечастой холостяцкой стряпни, просачивающемуся из-за моей двери в подъезд. – Я убью тебя, сволочь!

Нет, до таких выражений мы с Тамарой не опускались. В самые трудные периоды наших отношений мы не желали друг другу «сдохнуть» и чего-либо подобного. И дело здесь не только в том, что интеллигентные люди даже на пределе эмоций учитывают домовую слышимость. Просто тогда еще мы не предполагали друг от друга избавиться. «Как я от тебя устала!» – вот что кричала Тамара, а потом, метнув взгляд на вентиляционную отдушину, вполголоса договаривала нецензурную часть фразы. Как и подобает образованной москвичке, она бывала крепка на словцо, но, уверяю, без угроз в мой адрес.

Мы прожили с ней в браке много долгих лет. Иногда я вспоминаю эти годы со светлой грустью, иногда же мне хочется вести как можно более здоровый образ жизни, чтобы долготием компенсировать зря потраченное время. Факт, однако, заключается в том, что, когда я перестал быть мужем своей жены, у меня словно пелена спала с глаз. Словно из ушей выпали пробки, а из носу ватки... Меня, осиротевшего, взял под крыло целый мир. Звуки, забытые с детства, снова обступили меня. Деревце, тронутое ветром, пролетевшая муха или хоть эта самая вентиляционная отдушина – все заговаривало со мной, лепетало на тысячи голосов, несло какую-то многозначительную чепуху. И мне самому стало вдруг интересно, о чем жужжит муха, что шепчет деревце и чем заслужила свой приговор та «сволочь» с верхнего этажа.

Ошеломленный, переполненный звуками бытия, я подолгу курил на балконе. В небе пел самолет, раньше неслышимый; привязанная у магазина, плакала безутешно собачка; дети щебетали воробьиными голосами... Огромный шум города, прежде лишь отдававшийся в черепе неизбывным томительным гулом, теперь раскладывался на множество маленьких отчетливых музыкальных партий. И казалось мне, что еще немного, еще чуть-чуть, и, разбирая каждую из этих партий в отдельности, я постигну всю симфонию мироздания... Но сигарета сгорала, а собачка все плакала. Собачка плакала, и никто не приходил, чтобы ее отвязать. Мухи жужжали, деревья шелестели листьями, город шумел и шумел, а этажом выше по-прежнему убивали «сволочь». И однажды я наконец догадался, что ничего не изменится, симфония мироздания не сложится, если я останусь только в качестве слушателя. В ней, в симфонии, не хватало моего собственного голоса – вот о чем шептали мне листочки. Так я впервые по-

настоящему осознал свое писательское предназначение, а осознав его, стал меньше времени проводить на балконе и больше за работой. И весь этот переворот во мне случился, когда от меня ушла жена.

Впрочем, стояние на балконе полезно для нервов. Глядя на людское, мирное по большей части, копошение внизу, исполняешься какого-то доброжелательно-эпического спокойствия. Так удобно любить человечество с высоты девятого этажа.

– Тварь паршивая! Гадина!

Отсюда, оказывается, грохот битвы еще слышнее: видимо, наверху открыто окно. А вдруг оттуда сейчас кто-нибудь выпадет – мать или дочь? Одна из двух «гадин» выпадет и пролетит, суча ногами, мимо моего балкона. А потом, пару секунд спустя, шлепнется на асфальт и замолчит навсегда. Но нет – пока я на балконе, этого не случится, сколько ни мечтай. Да и шлепнуться на асфальт ей было бы затруднительно. У нас во дворе не то что человеку – яблоку негде упасть из-за бесчисленных припаркованных автомобилей. Скорее всего, она угодила бы на одну из их лакированных крыш, что доставило бы мне дополнительное удовольствие. Должен признаться, что к автомобилям у меня с некоторых пор глубокая неприязнь. Когда от меня ушла жена, машины стали основным источником раздражения (если, конечно, не считать вышеописанной буйной парочки). Все зло в Москве именно от автомобилей. Наглые, они шуршат по всему городу, дышат нашим воздухом и портят экологию. Они лезут во все щели, куда только могут протиснуть свои жирные тела. Но хуже всего то, что по ночам автомобили набиваются во дворы и устраивают отвратительные кошачьи концерты. Голосовой аппарат появился у автомобилей как средство защиты от грабителей. Было время, когда с машин снимали «дворники», зеркала, колеса и даже лобовые стекла, а они молчали, не умея подать зов о помощи. Теперь с них, кажется, никто ничего не снимает, зато автосигнализация развилась в самостоятельный род музыкального искусства. Но я не поклонник такой музыки – лежа ночью и слушая бесовские завывания, трели и свист, я вспоминаю другие, давние уже времена. Тогда где-то неподалеку от нас гнезвился соловей – он мелодично пел по ночам, а рядом со мной во сне тихонько посапывала Тамара. И пусть тем временем автомобильные воришки делали свое дело – они никак не нарушали ночного покоя.

Вот и кончилась сигарета. Как быть? Пустить окурочек вниз, по маршруту непролетевшей соседки? Ни за что. Я не помню случая, чтобы что-нибудь когда-нибудь бросил с балкона. Мне не хочется уподобляться субъектам, которые это делают. А таких субъектов, между прочим, в нашем доме немало. Плоская крыша магазина, расположенного под нами, усеяна разнообразным мусором. Порывы ветра, особенно перед грозой, взметывают и уносят что полегче, а пустые пивные банки, которые не могут улететь, катаются по ней туда-сюда, своим жестяным громом усиливая общее тревожное в такие минуты настроение. Впрочем, сегодня банки лежат неподвижно, потому что в тропосфере затишье и покой. Не знаю, как там геомагнитный фон – я его никогда не чувствовал, – но небо над городом безоблачно и безмятежно. Оно того же цвета, что глаза женщины, про которые мы в порядке ухода говорим, что они голубые. Кисея обычных московских испарений сегодня такая тонкая, что сквозь нее даже проглядывает луна. Вот чем она, оказывается, развлекается – подсматривает за нами днем, пока мы тут заняты своими делами.

«Делами»... я говорю так, не имея в виду конкретно себя. Лично у меня на сегодня все дела кончены – спасибо за это двум гадинам сверху. Теперь я вправе расслабиться; я вообще могу надеть сандалии и пойти погулять. Под луной или с нею на пару. Стану тоже подглядывать – в городе ведь много чего интересного.

Да, пожалуй, так и сделаю. Гулять ведь полезней для нервов, чем смотреть телевизор. Правда, Филипп... я не упоминал о нем?... Филипп – мой теперешний сожитель. Он, Филипп, конечно, захочет меня сопровождать, но я попрошу его остаться дома. Потому что у нас это

только так говорится, что он меня сопровождает, а на самом деле все бывает наоборот. Тут уж что-нибудь одно – или гулять с Филиппом, или с луной...

– Я убью тебя, сволочь!..

Черт!.. Где же мои сандалии?...

Прогулка

Хотел было сменить тему, но что-то не получается. Я до сих пор не могу разыскать свои сандалии. Точнее, одну из них. Филипп редко крадет всю пару – даже его ума хватает, чтобы понимать: в одной сандалиии я от него не сбегу. Я искал ее в передней, и на кухне, и в комнате под диваном – тщетно. В тех местах, где ей полагалось бы быть, сандалии нет. Недоумевает даже сам похититель. Теперь он и рад бы мне помочь – чутье подсказывает ему, что я уже отказался от мысли идти один и согласен взять его, Фила, с собой. Мы пойдем гулять как обычно, неразлучной парой, – лишь бы нашлась пара моей сандалиии. Но где же она? – Фил запомнил. Недавно, казалось бы, держал ее в зубах...

На этот раз он превзошел самого себя – закопал ее в нашей постели! Конечно, он тут же этой же сандалиией получает по задку. Но и меня бы можно спросить: почему, собственно, с сандалиией или без, постель до сих пор не убрана?... Можно спросить, да некому; у одиночества есть свои горькие привилегии. Штука в том, что я одинок не вполне. Если мне хочется уединиться по-настоящему – в компанию мне навязывается Филипп, а вздумаю с ним пообщаться – оказывается, что он все-таки не человек.

Что ж; пусть все идет как идет, и не беда, что не все идет так, как хочется. Пора бы уже привыкнуть. Тем более что случаются и совпадения – например, хорошая погода и желание погулять. Приятных совпадений, если вдуматься, много. Скажем, заходим мы в лифт, а там уже едет сверху милая такая собачка. Это, конечно, для Фила, но хотя бы за него можно порадоваться.

Правда, я предпочитаю приятности надежные, без совпадений. К примеру, наш консьерж-таджик – он в любую погоду неизменно приятный человек.

– Здравствуй, Насир!

Вот он сделал мне ручкой. Сегодня нет никакого праздника, а то бы Насир меня обязательно поздравил. Он поздравляет меня со всеми православными праздниками и с Днем России, а я его только с рамаданом, потому что других магометанских праздников не знаю. Кстати, вот уж кто знаком со всем нашим подъездом снизу доверху. Был бы я не такой стеснительный, давно бы ему пожаловался на буйных соседок. Многие, я заметил, так и делают – идут к Насиру со своими неурядицами, а он уж решает, кому просто посочувствовать, а кому вызвать МЧС или милицию. Однако это означает, что и в лице На-сира мы тоже имеем совпадение – приятного с полезным.

Мы с Филом выходим на улицу и тут же встречаем еще одного таджика, метущего тротуар. Но это уже не совпадение, а норма жизни. Таджик и метла, таджик и пешня, таджик и газонокосилка – понятия для Москвы неразделимые. Правда, в бизнес-квартале, куда переехала моя бывшая жена, метут, я слышал, украинцы, но неизвестно еще, кто лучше делает свое дело. У меня к таджикам нет никаких претензий, не знаю, как у них ко мне.

Я осматриваюсь и привыкаю к приземному плотному воздуху, пережидая, покуда Фил наскоро облеγχается в кустиках у подъезда. Этого его обычая я привык уже не стыдиться. Теперь мы готовы отправиться в путь – только надо бы засесть время. Я люблю засесть время – не только когда варю яйца или что-нибудь другое, а всегда. Не знаю даже, от каких предков досталась мне эта обстоятельность. Я подношу руку к глазам, но часов на ней нет – забыл надеть, пока искал сандалию. Ладно, не беда. Солнце застряло на юге, между корпусами 24 и 26-Б, и мне кажется, оно там провисит еще долго. Времени у нас много – и прошедшего, и покамест еще не растрченного. Как истинный потомок того же неизвестного обстоятельного предка, я, конечно, заранее составил маршрут нашей прогулки, и мы его вполне успеем пройти. Успеем, если Фил не будет обнюхивать подряд все кустики, а я не стану анализировать каждого встречного таджика.

А в планах моих – добраться пешком до настоящего большого парка. Это для нас реально, надо только пройти два квартала таких же, как мой, семнадцатипятиэтажных домов, потом квартал домов постарше и пониже, пересечь пару проезжих улиц, одно большое шоссе и еще вдоль этого шоссе пройти метров двести. По московским меркам недалеко. Теоретически – минут двадцать ходу, практически, то есть с Филиппом, – сорок. Но поскольку часов на мне нет, это все равно не имеет значения.

Итак, мы идем в парк, но, разумеется, не к тем воротам, которые устроила администрация и у которых зачем-то торчит вечно зевающий милиционер. На его территорию мы проникаем нелегально, более коротким путем, известным лишь нам с Филиппом и еще двум-трем сотням тысяч окрестных жителей. Неприметный путь этот лежит между кирпичным заводским забором и старой заброшенной спортплощадкой. Правда, спортплощадка не совсем заброшена. Здесь на остатках трибун пьют и спят лица БОМЖ и некоторые примкнувшие к ним коренные москвичи, а на бывшем спортивном поле, заросшем сорняками, частенько тренируются какие-то молодые люди патриотической ориентации. Парни с воинственными воплями задирают ноги, обутые в высокие ботинки, и колют кирпичи о свои бритые головы. Это, пока таджики метут улицы, они здесь оттачивают свои боевые искусства. Вид у этих ребят устрашающий, но нам с Филиппом бояться их нечего. Переплетенные во мне ДНК моих предков придали мне самую что ни на есть титульную внешность, а еще более сложный геном Филиппа сформировал из него стопроцентную дворнягу. Впрочем, бритоголовые настолько заняты разбиванием кирпичей, что вряд ли замечают кого-нибудь вокруг себя. Думаю, что в глазах их сейчас одни только искры.

Наша с Филом секретная лазейка замаскирована кучей мусора – битым кирпичом и разной неопределенной дрянью, какая остается после бомжей. Не всякий даже догадается, что это и есть вход в настоящий большой парк.

Благословенны российские заборы! Их много у нас, но в каждом имеется тайный проход. Знание этих проходов делает нас свободными людьми. Оно, как всякое тайное знание, дает нам ощущение избранности. Наверное, оказавшись на том свете, россияне первым делом отыскивают плохо прибитые доски в заборе, ограждающем райские кущи. Отыскивают, чтобы можно было гулять туда-сюда, минуя апостольский фейс-контроль. Знание проходов – привилегия местных жителей. В наших провинциальных городках только местные умеют передвигаться, не утопая по колена в грязи, а в Москве каждый абориген одарен наследственным знанием карты метро. Я, хотя и не родился в столице, тоже считаю себя местным жителем, потому что освоил вот эту лазейку. Тамара, моя бывшая жена, урожденная москвичка, и мне приятно сознавать, что с тех пор, как она от меня ушла, я отнюдь не потерялся в большом городе.

Первое, что я делаю, оказавшись в парке, – это, к обоюдному нашему удовольствию, отцепляю себя от Фила. Даже очень близким существам хорошо иногда разъединиться, потерять друг друга из виду. Разбежаться, но только на короткое время и недалеко, чтобы, вдруг на миг ощутив свое сиротство, привстать в траве на задние лапы и увидеть: нет, вон оно, близкое существо. Конечно, отпустив Фила, я не снимаю с себя ответственности за него. Если появится вдруг конный милиционер и спросит, чей это пес тут бегаёт, я буду вынужден признаться, что мой. На это милиционер может сделать мне выговор и запретить беспривязный выгул, а может просто кивнуть и величественно проследовать далее. Я не знаю, как он поступит, потому что до сих пор еще ни один милиционер, ни пеший, ни конный, не показывался в этом глухом углу парка. Собственно, милиции здесь нечего охранять: тут некому нарушать общественный порядок за неимением общества и некому портить общественную собственность ввиду отсутствия таковой. То-то и замечательно в настоящем большом парке, что власти не в состоянии обустроить его целиком. У властей недостаточно лавочек, фонарей, тротуарной плитки и милиционеров, а нам то и любо. И мне, и Филу больше нравятся тропки, прячущиеся в некошеной

траве, и деревья, выросшие не по плану департамента озеленения, а там, где упало родительское семя. Может быть, это потому, что мы с ним оба все-таки горожане в первом поколении.

Но здесь еще не конечная точка нашего маршрута. Мы идем дальше. Неприметная тропка прячется, как я сказал, в некошенной траве – в основном старой злощестной крапиве, которая жалит даже сквозь штаны. Затем надо спуститься по крутому склону, по которому проще было бы съехать на зад. Внизу – вечно сырой, чавкающий под ногами лужок. Мы пересекаем его, собирая на себя репейник, в окружении взлетающих по тревоге пчел и стрекоз. Еще немного, и мы будем у цели. «Но что это за цель, – спросите вы, – если стоит она таких усилий?» Минуту терпения. Мы продираемся сквозь гряды цепких кустиков, и вот она перед нами – цель нашего путешествия. Эта цель – Москва.

Москва – зеленая неширокая река, омывающая берег, выложенный валуном. Как любая река, она служит естественной преградой – разделительной чертой и границей. Здесь, на берегу, кончается парк, а где-то по фарватеру – возможно, там, где покачивается пирамидальный бакен, – уже проходит граница моего муниципального округа. Вздумай я переплыть через эту границу, на другой берег вышел бы гражданином второго сорта. Если бы я подал в тамошнюю управу жалобу, то ее бы даже не зарегистрировали, а послали бы меня назад через реку.

– За Москвой земли для нас нет, – шучу я, обращаясь к Филу.

Но ему и на родном берегу хорошо. Похлебав московской сомнительной водички, он приступает к своей обычной охоте на уток, а я сажусь на камень и достаю сигареты. У Фила здесь свой интерес, а у меня свой. Я курю и гляжу на реку в ожидании какого-нибудь суденышка. Но московская акватория на удивление пустынна. Мне непонятно, отчего у огромного города в его единственной водной артерии почти не бьется пульс. И это в то время, когда на суше жизнь кипит. Особенно она кипит в том округе за рекой, где мои жалобы недействительны. Там один за другим в небо вздымаются бело-розовые дома бизнес-класса. В одном из них на двадцать четвертом этаже живет своей новой кипучей жизнью моя бывшая жена. Я знаю этот дом, я даже вижу его со своего камушка. Будь у меня бинокль, я смог бы рассмотреть отсюда Тамарины окна.

Я сижу, жду суденышка и думаю о том, как странно все получилось. Раньше мы с Тamarой никогда не гуляли в этой части парка, потому что здесь нельзя ходить на каблуках, а теперь я таскаюсь сюда, чтобы вроде как ее навестить.

Едут на дачу

Лето. Субботнее утро. В потоке машин, стремящихся за город, – уверенный в себе джип-Гелендваген. Дмитрий Павлович с Тамарой едут на дачу. Тамара – вторая жена Дмитрия Павловича, а Дмитрий Павлович – второй муж Тамары. Кто была первая жена Дмитрия Павловича, мне неизвестно; сам он с ней больше не знает. А первым мужем Тамары был я, и на дачу они едут ко мне. Вообще-то у них есть собственный загородный дом, но с тех пор, как Тамара нас познакомила, они стали навещать меня регулярно. Мы с Дмитрием Павловичем, что называется, на короткой ноге. Я обращаюсь к нему запросто: «Палыч» – так же, как его шофер. Шофера я видел пару раз; он Палычев тезка, и, чтобы их не перепутать, все зовут его «Дима-маленький». Росту в Диме-маленьком метра два.

У Дмитрия Павловича есть несколько причин, чтобы несколько раз за лето путешествовать ко мне в Васьково на шестидесятый километр. Во-первых, его Гелендвагену не вредно иногда вспомнить, что он внедорожник. Во-вторых, Дмитрий Павлович уверяет, что ему ужасно нравится мой шашлык. И в-третьих, он почему-то считает нужным делиться со мной своими наблюдениями над жизнью. Сам Дмитрий Палыч – человек деловой, ему лично эти наблюдения ни к чему, но я единственный среди его знакомых писатель. Фактический материал, считает он, очень для меня важен, чтобы я, по его выражению, «не сосал из пальца». Что это за материал у него и откуда он сам его сосет, я еще расскажу.

Труднее понять, для чего ко мне ездит Тома. Если ее спросить, она, не задумываясь, ответит: «Как для чего? Надо же мне убедиться, что ты жив-здоров. Да и грядки твои кому-то надо полить». Однако надо иметь в виду, что, если женщина отвечает не задумываясь, это означает, что она говорит неправду. Грядок в Васькове она не поливала, даже когда мы были женаты. Полагаю, что и в теперешнем их новом имении не поливает, если таковые там имеются. Скорее всего – так мне кажется, – она приезжает сюда, чтобы убедиться лишним раз в том, что не полюбила меня обратно. А заодно сравнить меня, недотепу, со своим Димой: какой вот он умный и наблюдательный – вполне бы мог тоже сделаться литератором, если бы не занимался бизнесом и умел писать.

И вот эта парочка едет субботним утром ко мне на дачу. По случаю выходного дня Дмитрий Павлович ведет машину сам. Он вращает рулем вправо-влево, и Москва в окнах Гелендвагена поворачивается то одним боком, то другим. В машине играет радио. Семь динамиков, спрятанных в разных местах, создают объемное звучание, поэтому диджейский щебет слышится то там, то тут, словно по салону порхает сбежавший попугай. Дмитрий Павлович, когда он за рулем, предпочитает, чтобы звучало радио и не звучала бы Тамара. Она знает это и помалкивает.

Тем временем городской пейзаж за окнами меняется. Уже вдоль шоссе потянулись бетонные складские терминалы, похожие на огромные обувные коробки. Они перемежаются жилыми бетонными многоэтажками, похожими на складские терминалы. Это московская периферия. Скоро уже кольцевая дорога, а за ней... В сущности, ничего страшного за нею нет, просто это такой психологический рубеж: Московская кольцевая автодорога. С ее приближением Тамара начинает проявлять беспокойство и наконец нарушает молчание.

– Скоро кольцо, – сообщает она.

– Ну и? – откликается Дмитрий Павлович.

– Ты за продуктами заезжать собираешься?

– Тьфу ты! – досадует он. – Что же ты раньше молчала?

– Значит, это я обо всем должна думать!

Дмитрий Павлович, сбавив скорость, смотрит по сторонам дороги.

– Найди еще тут приличный магазин... – хмурится он.

Магазины-то здесь есть, но бренды и впрямь не впечатляют: то «гастроном», то «продукты». Наконец Тамара выглядывает впереди новенький большой супермаркет.

– Вон, – показывает она. – Видишь – слева?

– Вижу, что слева, – хмуро откликается Дмитрий Павлович. – А где я, спрашивается, буду разворот искать?

Он тормозит у обочины, но из машины не выходит, а продолжает сидеть, обхватив руками руль.

– О чем задумался, Дима? – спрашивает его Тамара.

– Думаю, где мне развернуться, – отвечает «Дима». – Придется до кольцевой ехать.

Тамара замужем не впервые, и она уже умеет проявлять сдержанность.

– Вот мы, – говорит она ровным голосом, – а вон магазин. Надо всего-то перейти через дорогу. А разворот нам искать незачем.

Вы только не сочтите Дмитрия Павловича туповатым. Он не тупее других мужчин, а в своей области и вовсе, как говорит Тамара, креативная личность. Просто он существо территориальное, и креативность его уменьшается пропорционально удалению от центра города. Но сейчас управление берет на себя Тамара. Ей удастся убедить Дмитрия Павловича прогуляться через дорогу, благо подземный переход оказывается совсем недалеко от места, где они остановились. Ну да нет худа без добра. Пройдясь пешочком, Дмитрий Павлович пополнит свой запас жизненных наблюдений и в гости к писателю приедет не с пустыми руками.

Итак, наша пара покинула Гелендваген и отправилась в супермаркет за продуктами, чтобы привезти их в Васьково. А в самом Васькове в это время уже идут приготовления к встрече. Старые продукты подвергнуты ревизии; часть их удалена из холодильника, часть отскребана от сковородки. Все, что может огорчить Тамару своим видом и запахом, выброшено в компостную яму. Убрана из кухни гирлянда стиранных носков как излишне трогательный символ холостяцкого быта. Заслано наше с Филом полутораспальное ложе. Сам Фил более или менее вычесан. Даже небо над Васьковым сегодня по-особенному чистое и промытое – но это уже старался не я.

Синь неба, зелень садов – милый уездный пейзаж. Я покуриваю на крылечке и оживляю этот пейзаж ярко-красным пятном. На мне алая финская майка, купленная когда-то еще Тамарой. За годы носки она не вылиняла – когда я в ней, насекомые подлетают поинтересоваться, нет ли на мне нектара. Даже козявки падки на заграничное, хотя зачем им нектар, если здешний воздух сам по себе так чист и вкусен? «Как хорошо иметь дачу в Васькове, – благодуществую я между затяжками. – Ни на что бы не променял». В действительности я давным-давно уже это сделал – променял Васьково на Москву. Потому что – открою секрет – дача эта вовсе не дача, а моя малая родина. Да, уважаемые, тут я родился, только вот не пригодился, вопреки пословице. На этом крылечке я играл, еще будучи ребенком. Здесь, в этом домике, прожили свой век мои отец и мать. А называть это место дачей приучила меня Тамара.

На близкой церковной колоколенке наблюдается шевеление – сейчас ударят «часы»... Крикнуть, спросить: не видать ли им сверху приближающегося Гелендвагена?

«Бам-м-м!»

Едет. Я словно сердцем чувствую. Вот он медленно катится по моей улице, хрустя щебнем и пробуя широкими шинами ямы. Смелее, машина, ты же вездеход! Встреча обеспечена: Туман, друг Филиппа и он же наш местный глашатай, забегает перед Гелендвагеном, словно папарацци перед кинодивой, и, захлебываясь восторженным лаем, пытается укунить его за колесо. Вот и соседи мои здешние повысунулись из-за заборов, будто куклы из-за ширм. Только сейчас они не дают представление, а сами на него глазуют. Что ж, им судить, стоило ли ради такого зрелища отрываться от огородов.

Гелендваген еще едет, а в рядах встречающих уже конфликт: Филипп с Туманом от волнения подрались. Я пинками улаживаю инцидент, но общее напряжение сохраняется. Теперь

внимание – машина остановилась напротив моей калитки. Дверцы ее с обеих сторон распахиваются, из-под них показываются две разных ноги – слева женская в туфельке, справа мужская в длинноносом ботинке. Та и другая не слишком уверенно ступают на васьковскую почву... и, собственно, все – прибытие состоялось. Дальше следуют объятия, щекотание собак за ухом и разгрузка багажника. Спустя три-четыре минуты на сцене уже никого – кроме Тумана и Гелендвагена. Хотя и Гелендваген тоже на сегодня свое отыграл. Сердце его остановилось раньше, чем за хозяином закрылась калитка, – он только и успел, что прощально свистнуть. Для Тумана он теперь не более чем остывающий кусок железа. Равнодушно, скорее для порядка, кобелек окропляет недвижимое колесо и трусит по своим делам. Представление окончено.

Но так уж ли оно окончено? Перенесемся за кулисы и убедимся, что спектакль продолжается, только без посторонних глаз.

– Хорошо тут у тебя! – басит Дмитрий Павлович и шумно тянет носом воздух. – Уютно так, знаешь...

Он говорит это из великодушия, а я из скромности не соглашаюсь:

– Подумаешь, уютно... Деревня – она и есть деревня.

– Не скажи, – возражает Дмитрий Павлович. – Вон у тебя и яблоки, я смотрю.

– Подумаешь, яблоки... Разве на твоей фазенде, Палыч, яблоки не растут?

– Не-а... Томка там эти выращивает... орхидеи. А они говном пахнут.

Он кидает искоса взгляд на Тамару, и не напрасно. Она делает ему замечание:

– Не люблю, когда ты так выражаешься. Мужчине это не идет.

Тамаре хочется, чтобы в моем присутствии Дима ее выглядел комильфо.

– К тому же, – продолжает она с некоторым вызовом, – если на то пошло, здесь этим воняет и безо всяких орхидей. А яблоки у него только в компот годятся.

– Ну хоть бы и в компот, – теперь Дмитрий Павлович косится на меня. – И про вонь, Зайка, ты зря – ничем здесь таким... – он нарочно делает опять глубокий вдох и, неожиданно засосав носом мошку, визгливо чихает.

Чтобы прервать их спор, я приглашаю обоих «заек» в дом. Но и здесь продолжается лицедейство. Тамара, изображая строгую заботливость, проверяет чистоту у меня на кухне. Дмитрий Павлович, демонстрируя простоту и дружескую нецеремонность, без спросу усаживается в Филово кресло. Я его не стоняю – пусть собачья шерсть хорошенько облепит его дорогие брюки. Фил не рычит на него потому только, что уже исследовал приехавшие с гостями сумки и теперь прикидывается милягой псом – в надежде на поживу. Мотив понятный, хотя и не очень-то красивый. А вот зачем притворяюсь я – милягой и любящим родственником, – этого я объяснить не могу.

День проходит так, как и должен проходить летний дачный день, – в неге и лени. Чтобы ничем не запомниться, кроме вот этого состояния дремотного неосмысленного блаженства. В саду моем происходит что-то вроде оргии наоборот – мы, все четверо, отдыхаем наподобие львиного прайда. Филипп валяется в тенике под кустом. Тамара загорает в траве, демонстрируя отсутствие целлюлита. Дмитрий Павлович как доминирующий самец развалился с газетой в гамаке. Я тоже неплохо устроился в стареньком соломенном креслице. Чтобы совсем уже не заснуть, мы с Дмитрием Павловичем на пару разгадываем кроссворд. Разделение труда у нас такое: я даю ответы, а он записывает их карандашиком.

– Композитор на «Г», четыре буквы.

– Глюк, – отвечаю я.

– Не подходит.

– Тогда Гуно.

– Молодец, писатель... Дальше... Условие страхового договора... восемь букв... о, ну это франшиза!

– Умница ты моя! – мурлычет из травы Тамара.

Я думал, она нас не слушает. Это было первое слово, которое отгадал ее Дима.

– Утрата, – продолжает Дмитрий Павлович.

– Повреждение, – отвечаю я.

– Нет, шесть букв.

– Тогда – потеря.

– Потеря, потеря... Правильно...

Оживившись, Дмитрий Павлович качнулся в гамаке:

– Слушай, мы с Томкой сегодня такую сценку видели – тебе как писателю может пригодиться. Бомж с бомжихой в подземном переходе ругаются. Он ее бьет, а она ему орет: «Ты хочешь меня потерять?»

Пауза.

– И все? – спрашиваю я.

– Ну да... «Ты хочешь меня потерять?» – прямо анекдот.

– Не вижу ничего смешного, – подает голос Тамара.

Я с ней согласен.

Васьково – Москва

Случалось ли вам бывать в Центральном округе Москвы погожим летним воскресным днем? Скорее всего, нет, потому что вы, как все нормальные люди, проводите такие дни на даче. Я тоже сидел бы сегодня в Васькове и знать не знал, что делается в этом самом ЦАО, если бы не одно важное обстоятельство. Именно сегодня меня пригласили на радиоинтервью. Вообще-то я не большой любитель каких бы то ни было интервью. Знаете, у некоторых писателей тяга к публичности, говорят, сильнее, чем половое влечение, но я не таков. Однако уж если и давать интервью, то желательно на радио. На телевидении вам перед эфиром обязательно станут пудрить нос, а газета плоха тем, что в печатном виде увековечивает все сказанные вами глупости, помноженные на глупости интервьюера. Так что уж лучше радио – здесь неважно, как вы выглядите, и все, что вы ни сболтнете, канет в эфире и будет забыто скорее, чем начнется новая передача.

Станция, куда меня пригласили, небольшая, но уважаемая. Студия ее прячется где-то здесь, недалеко от московского центра, в квартире одного из домов. Если я ее найду, а вы в FM-океане выловите эту уважаемую станцию, то через полчаса сможете услышать мое бормотание в прямом эфире. Я еще не знаю, о чем будет разговор, но оно и неважно. Главное в радиоинтервью – не шепелявить, не сморкаться и не делать долгих пауз. Если все пройдет хорошо, ведущая покажет мне большой пальчик, хотя вы, слушатели, его не увидите.

Вот какая серьезная причина оказаться мне здесь и теперь – жарким воскресным полднем в самой московской середке. Мне приходится идти по улицам, держась теневой стороны. Докладываю господам дачникам: сейчас бы вы не узнали своего города. Представьте себе кита, выброшенного на берег и обсыхающего под солнцем. Те, кто плавал на нем, кто населял складки его необъятной шкуры, – все они разбежались, расползлись, спасая свои маленькие жизни. Где привычные людские толпы? Где легендарные московские пробки? Улицы пусты, как голова писателя перед интервью. В шкуре мегаполиса остались лишь те немногие, самые преданные его спутники-паразиты, кому суждено жить, а случись, и погибнуть вместе с ним. Кто же они, эти горожане из горожан? В основном это лица БОМЖ и разного рода попрошайки. Бомжи спят и бродят, где им вздумается, – им сегодня вольготно, как тараканам на кухне в наше отсутствие. А у попрошайек простой – чтобы не потерять квалификацию, они кланчат подавание друг у друга. Прочего народа мало – кроме писателей, приехавших на интервью, большую часть его, наверное, составляют домушники, промышляющие в ваших, господа дачники, оставленных квартирах.

Эти места я знаю не очень хорошо, но чувствую, что иду правильно. В трезвом виде я в Москве еще ни разу не заблудился, а сейчас я если и пьян немного, то только от зноя. Когда я бреду незнакомыми переулками, впереди меня летит ангел и показывает дорогу. Вот он подсказывает мне свернуть налево, потом направо, потом перепрыгнуть через какой-то то ли провал грунта, то ли раскоп, и я попадаю... ну да, я попадаю в нужный мне двор. Все сходится: переулок, номер дома и, главное, вывеска с именем моего радио у подъезда. Неправильное только время: мне назначено было прийти через двадцать минут. Понимаете, это очень не по-московски – являться куда-либо загодя. Девочкам из редакции придется поить меня кофе и вести со мной светский разговор. При этом они то и дело будут убегать по каким-то срочным надобностям, оставляя меня наедине с моей неловкостью. Кроме того, в наших редакциях никогда не знаешь заранее, можно ли там курить, или надо идти на лестницу.

Все эти соображения излагает мне другой мой ангел – ангел благоразумия. Следуя его совету, я решаю высидеть последние мои непубличные минуты просто на лавочке во дворе. Я сажусь, закуриваю и от нечего делать принимаюсь осматриваться. Двор как двор – нормальная московская четырехстенка. Только посередине его стоит не трансформаторная будка и не

какая-нибудь насосная подстанция, а большое кубическое сооружение с решетками-жабрами по бокам. Через эти решетки с ровным гулом дуют на четыре стороны упругие теплые ветры, насыщая двор ароматом, знакомым каждому столичному жителю. Не надо даже звать ангела сообразительности, чтобы понять: сооружение это – дышало московского метро. А в остальном все, как положено в обычном дворе: детские качели, песочницы, лавочки для желающих присесть. Все это пусто сейчас, но не по причине удушливых токов, идущих из дыхала, а потому что, напоминаю, сейчас лето и воскресенье.

Хотя... прошу прощения, я не разглядел в тени дерева сидящую по диагонали от меня старушку. Возможно, старушку забыли, когда укладывались, собираясь на дачу... Она не курит, не кормит голубей, не читает книжку. Просто сидит на лавочке, а ветер из метро шевелит ее седую прядку. «Наверное, бабушка не в себе, – думаю я. – Чудные бывают эти московские старушки». Мы сидим далеко друг от друга, так что лица ее мне не разобрать. Через пять минут я пойду рассказывать радиослушателям о себе и своем творчестве. О старушке я забуду и никогда не сделаю того открытия, что на самом деле мы с ней давным-давно знакомы.

Зовут ее Марина Михайловна, и старушка она не вполне московская. Во всяком случае, из ума она выживала не здесь, в ЦАО, а в пригородных электричках. «Москва – Васьково»; шестьдесят километров в один конец; сорок пять лет и сколько-то месяцев. Тетя Марина жила в домике по соседству с нашим и тоже, конечно, имела участок – положенные четыре сотки. Но возделывать их приходилось моей матушке, потому что самой ей было некогда. Тетя Марина работала в метро. В благодарность за помощь она приносила нам «бабаевские» конфеты и как-то раз свозила меня в Москву на «елку». Сколько я помню, одевалась она всегда со вкусом, носила берет, но женского счастья не имела. Да и какое счастье можно устроить, если полжизни проводишь в дороге... В метро, конечно, проходит много мужчин, но кто, скажите, станет любезничать с женщиной, управляющей эскалатором? Однажды мне с матушкой случилось оказаться на тети-Марининой станции в ее дежурство. Матушка ее узнала и очень обрадовалась, а тетя Марина только строго кивнула нам и снова заговорила в микрофон: «Проходите, граждане, не скапливайтесь у турникетов!»

Между тем в Васькове в те годы не было никаких проблем с трудоустройством. Дымили вовсю и химический завод, и железобетонный, и деревообрабатывающий. Моим родителям было невдомек, для чего соседка истязает себя этой ежедневной ездой в Москву. Ну не ради же того, чтобы кушать каждый день сосиски и «бабаевские» конфеты. Отец мой, человек прямой, так и говорил: «У этой Маринки не все дома». – «А кому же и быть дома у тети Марины, – удивлялся я про себя, – если все у нее – это она сама?» Я в те годы, понятно, находился под отцовским влиянием, но в душе мне нравился ее столичный стиль. Я не знал еще, что через несколько лет заболею тети-Марининой болезнью и сам узнаю, что такое любовь. Не вся Москва, но одна ее жительница приворожила, влюбила меня в себя и погубила мою жизнь. Но это другая история.

А на Маринину беззаветную любовь Москва не отвечала никак. Ценою очередной нелегкой подземной вахты женщина добывала право на краткое свидание с городом. Она шла походкой москвички, одетая, как москвичка, и покупала в гастрономе сосиски – деликатные триста граммов. Все напрасно. Марина видела, как вечерами затепливаются окна московских домов, но ни одно из них не принадлежало ей. Во всем этом прекрасном и необъятном нагромождении жилья для Марины не находилось ни окна, ни квадратного метра. Уютно звенящие трамваи развозили настоящих москвичей по месту прописки, а ей дорога была на вокзал. Грязная, прокуренная электричка, набитая такими же, как она, «нерезидентами», крича больным петухом, уносила Марину во тьму и холод.

И так проходили год за годом. Жизнь человеческую вообще принято сравнивать с дорогой, а в случае Марины Михайловны это был конкретный перегон: сначала Васьково – Москва, потом Москва – Васьково. Бывали ли на этом перегоне «происшествия», события, достойные

упоминания, я не знаю. С матушкой моей они о чем-то порой шушукались, но мы с отцом не имели привычки вслушиваться в женские разговоры. Практически в жизни тети Марины ничто не менялось вплоть до выхода ее на пенсию. А когда она завершила трудовой путь и вынуждена была осесть в Васькове, всем нам показалось, что она прибыла на конечную станцию. Не стало сосисок и «бабаевских» конфет; и жалко нам было видеть, как быстро наша соседка состарилась в разлуке с предметом своей неразделенной страсти.

Ее участок был, конечно, самым неухоженным на нашей улице. Кур, которых она завела по совету моей матушки, Марина Михайловна ненавидела и боялась. Они отвечали ей тем же и при каждой возможности норовили сбежать. Общалась она только с нами, потому что остальные соседи недолюбливали ее и дразнили «москвичкой». Платок и «куфайка» не шли Марине Михайловне, но она теперь нарочно целыми днями ходила в «затрапезе», словно выражая тем презрение всей нашей убогой деревне.

Как ни трудно складывалась вся предыдущая жизнь Марины Михайловны, но эти годы оказались для нее самыми безрадостными. Что может быть печальней одиночества в пожилом возрасте? Сидишь – угасаешь, а побежишь за курицей, и самой делается страшно – чем кончится эта пробежка. А чем бы все кончилось для Марины Михайловны? – скорее всего, инсультом или инфарктом. Решение этого вопроса виделось уже не за горами, однако... однако так получилось, что оно было самым неожиданным образом отложено.

Удивительный и счастливый поворот в жизни Марины Михайловны произошел не без посредства моих добрых родителей. Дело в том, что счастье ее постучалось сначала в нашу калитку. Явилось оно в виде интеллигентного старичка, поинтересовавшегося снять у нас на лето комнату. В те времена это было в порядке вещей – москвичи снимали дачи у местных жителей, вместо того чтобы возводить свои собственные. В первую минуту матушка моя обрадовалась. Денежки, они в хозяйстве нелишние, а комната сына (то есть моя) была свободна, потому что он (то есть я) жил тогда уже в Москве. Но сын приезжал иногда подкормиться и просто на выходные; увидев, что комната занята, он вздумал бы, чего доброго, обидеться. А с другой стороны, в доме имелась еще веранда, где сын (не барин!) вполне бы мог разместиться... В общем, матушке срочно понадобился совет отца. Отец выслушал все ее соображения, а потом пошел во двор взглянуть на старичка. Мужчины побеседовали минут десять. Затем отец вернулся в дом к матушке и сказал, чтобы гость не слышал:

– Этот нам не годится. Нуден очень. Ты его того... Маринке-«москвичке» сосватай.

И отправился опять смотреть телевизор. Спорить с ним было бесполезно, поэтому матушка повела постояльца к соседке. Чем старичок не глянулся отцу, понять было нетрудно: если человек совсем не выпивает, не курит и не играет в шахматы, жить с ним под одной крышей невыносимо, хотя бы даже и за плату.

Зато, как ни странно, у тети Марины старичок прижился. А может быть, она сразу на него глаз положила – женщины, они ведь стратеги великие. Как бы то ни было, дедушка не только исправно платя, проживал у нее все лето, но под конец сезона предложил ей руку и сердце. Чем пленила Марина Михайловна московского старичка – эту тайну он унес с собой в могилу, а почему она дала ему согласие – можно не спрашивать. пышной свадьбы «молодые» не играли, но в загсе документы оформили, все как положено.

Что было дальше – об этом, конечно, вы уже догадались. Некурящий старичок, имени которого мы даже не успели запомнить, вскорости помер. Побежал, говорят, за курицей. Марина же Михайловна, недолго думая, продала «поместье» и перебралась на жительство в его московскую квартиру.

С тех пор прошло много лет. Возможно, Марина Михайловна и сама подзабыла имя своего кратковременного супруга, но это неважно. Она счастлива; она будет жить еще долго... но придумывать эту жизнь мне уже недосуг – мне пора идти на встречу с радиодевочками и с вами... Когда Марина Михайловна все-таки умрет, ее любовь, ее Москва, этого не заметит.

Счастье возможно

Ночь. Над городом, подобно дурно натянутому экрану, провисает желтовато-белесое, в облачных латках небо. Какие-то сполохи и световые пятна гуляют по нему, и светлячки летательных аппаратов оживляют его своим медленным бесшумным движением. Но «кина не будет». Точнее говоря, не будет другого, потому что это оно и есть – бесплатное психоделическое кино для жителей московских многоэтажек. Прямо скажем, зрелище не перенасыщено действием, однако, как ни странно, последний этот сеанс собирает довольно много зрителей. Места здесь все экономкласса, зато для курящих.

Я вздуваю свой маленький огонек у себя на балконе, а на балконах и лоджиях соседних домов тут и там мерцают такие же огоньки. Каждый год до самых морозов мы, ночные курильщики, посылаем друг другу и небу световые сигналы, которые невозможно расшифровать. Самих нас не разглядеть – мы как темная космическая материя, о существовании которой можно судить только по косвенным признакам. Кто вы, мои ночные собраты, скрытые в сумеречных пазухах лоджий? Каких философских, метафизических высот достигли вы, глядя в московское небо? Может быть, кто-то из вас далеко превзошел меня в умственном развитии.

Самолет, поводя усом прожектора, валится в направлении аэропорта. Нынче все авиакомпании экономят топливо, поэтому посадка будет стремительной. Превозмогая тошноту, пассажиры встретят ее аплодисментами. Но еще раньше без оваций приземлится чей-то окурок, пролетевший перед моим носом секунду назад. Неизвестный курильщик, живущий где-то надо мной, явно не представитель высокоразвитой цивилизации.

Окурок падает наземь и медленно гаснет. Мог упасть на крышу ночующего авто или на голову подростку, пьющему пиво, но он, никому не причинив беспокойства, ложится на асфальт и тихо умирает. Еще один. Асфальт – это почва и дно города, прирастающее такими вот отложениями. Как и из чего варят асфальт, я в точности не знаю, но слышал, что вещество его органического происхождения. Это заставляет призадуматься. Зато я знаю, что не правы те, кто утверждает, будто на асфальте ничего не растет. Вон, прямо подо мной горланит компания молодежи. Эта буйная вечно-тусующаяся поросль взошла на асфальте. На асфальте вырос и я – как личность и как писатель.

Мне не хотелось бы показаться таким урбанистом-идеалистом, но право слово: в городе жить уютно. Спать под его шумок и слышать под утро, как деликатно урчащий мусоровоз помогает опорожниться вашему домовому коллективному кишечнику. Провести свой день в пеленах забот с перерывами на кормление, а вечером по вкусу и средствам получить заслуженный релакс. Что может быть лучше? Ты боишься темноты, но в городе темно не бывает даже ночью. Тебя пугают звезды и космос, но здесь ты их не увидишь. А если все же захочется на сон грядущий пощекотать нервы, то можно посмотреть по телеку городские новости.

Я сам иногда с интересом смотрю московские новости – особенно криминальные. Особенно про разборки в верхних эшелонах власти и бизнеса и про то, как у знаменитостей угощают их лимузины. В такие минуты приятно осознавать себя малоизвестным и малоимущим. Нет лучше защиты, чем собственная малость. Крошечному существу легче спрятаться, и оно не ушибается при падении. Что ни говорите, хорошо чувствовать себя незаметным, а что, если не город, дарит нам это уютное ощущение?

Конечно, мы, малые, тоже плачем, и жизнь наша вовсе не лишена драматизма. В ней случаются по-своему занятные сюжеты. Другое дело, что они не попадают в новостные хроники, а сразу и непосредственно предаются забвению. Либо, в лучшем случае, становятся добычей второразрядных прозаиков. Я как раз и хочу, пока вы не уснули, рассказать вам историю одной моей знакомой – самой обыкновенной горожанки. Вообще-то она одноклассница моей бывшей жены, но и мне человек не посторонний.

Зовут ее Лида Суркова. То есть зовут ее Лида, а Суркова – ее школьная фамилия. Я не говорю – девичья, потому что слово это устаревшее и неточное. Потом у нее была фамилия Любохинер (очень недолго), потом Барботкина. Здесь нет ничего необычного: при нынешнем динамичном образе жизни все скоро изнашивается. Время от времени женщинам приходится обновлять фамилию, или, выражаясь современным языком, проходить ребрендинг. Лиде в этом деле не везло, но и такое не редкость. Вообще вся история ее довольно типичная, за исключением, быть может, счастливого финала.

Итак, сначала. Жила была Лида под условно девичьей фамилией Суркова. Девушка как девушка: хорошистка в учебе и ничего собой. Приятно, говорят, пела. И были у нее простые, всем понятные девичьи страхи – она боялась грозы с молниями, аборта, неудачного замужества и потолстеть. Проще сказать, она боялась неизбежного. Как-то летом у них в доме гостил сын институтского однокашника Лидино отца Жора Любохинер. Жорик приехал из Днепропетровска – он собирался или делал вид, что собирается куда-то поступать. Однажды, когда родителей не было дома, а Лида с Жорой были, в Москве разразилась ужасная гроза. Перепуганная Лида бросилась искать спасения у Жорика на груди. Не растерявшийся юноша для пущей защиты накрыл ее своим телом. Забывши об осторожности, девушка под громы и молнии зачала. Лидин папа, узнав о случившемся, скрежетал зубами и хотел немедленно вышвырнуть вон коварного приживала. Но Лида и ее мама воскликнули в один голос: «Только не аборт!» Начались приготовления к свадьбе. Из Днепропетровска приехало множество Любохинеров и их родственников, употреблявших в разговоре фрикативное «г». В загс молодые поехали на «Чайке», а для родственников пришлось нанять львовский автобус. Тот же поезд доставил их потом к кафе, где уже были накрыты свадебные столы. Здесь «Чайку» отпустили, а автобус заехал за угол и встал там в ожидании нескорого окончания пиршества. Угощение было достаточное. Кто-то из Любохинеров, возможно, ожидал большего, но многие из числа приглашенных и особенно не приглашенных лиц оказались вполне довольны. Водка с шампанским свободно текли во рты, изливаясь обратно сладким медом речей. Молодые по требованию гостей целовались в губы, и все шло как положено. Но вот после горячего, слегка разомлев, Лида склонила головку на мужнее плечо. То есть не так... Головку она склонила, а плеча-то на месте и не оказалось. Посмотрела Лида – Жорика нет. «Ну, – думает, – куда-нибудь вышел». Однако минуло четверть часа, а муж не возвращался. Лида обеспокоилась и, подобрав кринолины, отправилась его искать. Она обошла все кафе и даже заглянула в мужской туалет – Жорика нигде не было. Лида вышла на крыльцо, где курило несколько мужчин. Она заглянула каждому из них в лицо, но мужа ни в ком не признала. «Вы не видели Жору?» – спросила она. Кто-то из мужчин показал рукой за угол: «Туда вроде пошел». Там, за углом, как раз стоял львовский автобус. Одна дверь автобуса была открыта, а рядом прохаживался с папиросой в зубах водитель. «Вы не видели моего мужа?» – спросила опять Лида. Вопрос был нелепый сам по себе, ведь откуда водителю знать, кто у них там чей муж. «Не видел и видеть не хочу! – ответил он сердито. – Мой автобус вам не блядовник – сейчас уеду, и все!» И в этот момент до Лиды донеслись стоны страсти. Я потому уточняю, что автобус был львовского производства, что у них, у ЛАЗов, сзади имелось длинное сплошное, теплое от мотора сиденье, пригодное для утех на скорую руку. Сейчас их в Россию не поставляют. Лида заглянула в открытую дверь, откуда слышались стоны, и, тоже застонав, лишилась чувств. Тогда же все и открылось: Жорик в автобусе был со своей кузиной Розой, которую всегда «хотел», а в Москву он приехал специально, чтобы окрутить Лиду и получить прописку. Аборт они все-таки сделали – успели, но Лидин папа в результате этих событий стал радикальным антисемитом. Самое печальное, что Лида на нервной почве действительно начала толстеть.

Следующее Лидино официальное бракосочетание произошло не скоро – лет этак через пятнадцать. Но не подумайте, что она спала все эти годы в хрустальном гробу. Нет, она много страдала, много думала. Меняла половых партнеров. Несмотря на пышные формы (а может

быть, и благодаря им), у Лиды всегда был неплохой ангажемент. Но грезилась она, конечно, о подлинном чувстве.

С Тамарой, как со школьной подругой своей, Суркова была откровенна.

– Попадись мне такой, – мечтала она как-то за бокалом «чинзано», – такой любящий, настоящий, прямо взяла бы и за ним побежала. Несмотря ни на что.

– Так-таки несмотря? – усомнилась Тамара. – А если он окажется итээровец в дырявых носках?

– Ты не поняла, – усмехнулась Лида. – Я же говорю – настоящий.

– Настоящий в смысле состоятельный, – догадался я.

Лида слегка покосилась в мою сторону:

– Ну, типа того... А этого добра в дырявых носках мы насмотрелись.

– Ну да, ну да, – понимающе закивала Тамара.

В жизни, однако, любящие и «настоящие» распадались на две несмешиваемые категории. Любящие со своей любовью приезжали к Лиде на ржавых «жигулях», а «настоящие» хотя и возили ее в рестораны на хороших машинах, но были всего-навсего «не прочь». Так продолжалось, повторяю, лет пятнадцать. Но однажды Лида объявилась у нас совершенно преображенная.

– Здравствуйте... – пробормотал я, открывая дверь, и лишь через секунду узнал ее: – Заходи, Лида.

В новой прическе, в ярком, чуть ли не вечернем макияже и словно бы даже построившаяся, она никак не походила на ту Суркову, что пускала нюни у нас на кухне.

– А я не одна, – улыбнулась Лида застенчиво. – Я с мужем.

Муж стоял на лестнице и был нам тут же предъявлен.

– Михаил, – представился он, не улыбувшись. – Барботкин.

Тамара была за подругу рада. Она накрыла на скорую руку стол, и мы с Барботкиными тепло поужинали в формате два на два. Когда Михаил вышел по малой нужде в туалет, Лида спросила Тамару шепотом:

– Ну как он тебе?

– Недурен, – так же шепотом откликнулась Тамара. – Только почему он все время молчит?

Лида пожала плечами:

– Не такое трепло, как другие.

– Ну да, ну да, – понимающе закивала Тамара. – Ну а что он вообще – мужчина-то настоящий?

– Что ты! Обеспечен прекрасно! Не понимаю даже, почему от него две жены ушло.

Михаил справил свою нужду и вернулся. Мы попили кофе и вскоре распрощались.

А недолгое время спустя Лида поняла, почему от Барботкина, несмотря на прекрасную обеспеченность, «ушло две жены». Михаил действительно был мужчина неразговорчивый, поэтому, когда еще до истечения медового месяца он молча и без объяснений попытался овладеть ею в извращенной форме, Лида была шокирована. Вообще-то она не могла пожаловаться на отсутствие добрачного сексуального опыта, но этот ее опыт носил скорее количественный характер. Искусство любви для Лиды сводилось к подбору «области бикини» и принятию позы, соответствующей обстоятельствам и месту действия. То, чего домогался от нее Барботкин, было выше ее разума. Лида пыталась отвлечь мужа кулинарными изысками, до которых была мастерица. Она обманым путем родила Михаилу прелестную дочь, надеясь, что радости отцовства отобьют у него тягу к перверсии. Все было тщетно, два или три года спустя брак их был аннулирован по обоюдному согласию. Женщина-судья, разведившая их, качала головой, и нам вслед за ней остается лишь удивляться, из-за каких пустяков порой распадаются хорошие семьи.

Как бы то ни было, молчаливый Барботкин исчез за горизонтом, и я рад, что не успел с ним подружиться. Суркова снова осталась одна, но с прибавлением в виде маленькой дочурки. Другие прибавления, неутешительные, произошли у Лиды в области талии и ягодиц. Вот, собственно, и вся история двух ее неудачных замужеств, известная мне больше со слов Тамары.

Теперь я расскажу о третьем, удачном. Но сначала небольшое отступление. Москва, как известно, город очень большой. Мужчин в ней проживает и гостит видимо-невидимо. Однако если вы незамужняя женщина средних лет, то знаете, как трудно среди них найти «настоящего» и притом незанятого для создания серьезных долговременных отношений. Полагаю, что Дмитрий Павлович, которого отхватила моя бывшая жена Тамара, был одним из последних таких экземпляров. Но незамужние женщины знают и другое: как ни велика Москва, она не единственный из обитаемых миров. Когда мы, ночные курильщики, вглядываемся в мутное московское небо – что, по-вашему, в это время делают незамужние москвички? Они сидят перед своими пи-си и всю мониторят ближний и дальний обитаемый космос. В глазах их – отраженный блеск экрана; правая рука ласкает «мышку». Сайты знакомств бездонны, безбрежны... Со сколькими мужчинами проводит ночь средних лет среднестатистическая незамужняя москвичка? Скольким отказывает, скольких помещает в «избранное»? Этого нам знать не дано...

Ловля мужчин в Интернете напоминает рыбалку наоборот. Представьте себе пруд, в котором несметно голодной, но по большей части несъедобной рыбы. Только и успеваешь, что снять ее с крючка и швырять обратно в воду. Тут главное, чтобы не притупился глаз, не то, когда попадется рыбка стоящая, можно и ее машинально выбросить. Слышал я и о другой проблеме. Женщины-удильщицы порой настолько втягиваются в процесс виртуальной мужеловли, что, выиграв наконец свой главный приз, не знают уже, что с ним делать. Как мой пес Фил, который обожает охотиться в парке на крыс, но теряет к ним всякий интерес после того, как прикончит.

Но, несмотря на некоторые издержки, ловить мужчину в Сети гораздо удобнее, чем бабушкиным методом натурального знакомства. Так можно экономить небезграничные ресурсы своего обаяния и привлекательности. Не надо даже краситься и обновлять наряды. Запустила наживку в виде собственной фотографии двадцатилетней давности – и сиди, жди. Жаль, что Интернет получил повсеместное распространение лишь недавно и мои сверстницы сели за клавиатуру, в большинстве своем будучи уже потрепанными докомпьютерной реальностью.

Но к чему я об этом заговорил?... Правильно. Наша приятельница Суркова тоже наконец приобщила к ай-ти-технологиям. Здесь у меня в рассказе будет опять пропуск, потому что в тот период мы с Тамарой как раз разводились и мне было не до Лиды с ее электронными «кадрами». Для нас это было довольно нервное время, хотя в итоге все обошлось – никто не покончил с собой, и Тамара с чистой совестью начала новую жизнь с Дмитрием Павловичем. Я даже стал хотя и несчастным, но, как они уверяли, желанным гостем в их доме. И вот однажды, будучи у них, не помню, по какому случаю, я снова встретился с Лидой Сурковой. Она пришла не одна, а с рыжеватым, лысоватым, смущенно улыбающимся субъектом.

– Это Тим, – познакомила нас Лида. – На Тимошу тоже отзывается.

Мы все поулыбались этому Тиму-Тимоше и сказали, что нам «очень приятно». И тогда Лида, не сходя с места, сообщила нам, что нашла его в Интернете и что, хотя он «страшок» и совсем не похож на свою фотографию, но в душе прекрасный человек. Тамара заметила, что нельзя так говорить при живом мужчине, на что Лида рассмеялась:

– При нем можно. Тимоша из Канады и по-русски ни бум-бум.

– Нье бум-бум, – улыбаясь, подтвердил Тимоша.

В тот вечер он был у нас главной темой разговоров. Тимоша действительно оказался нам неплохим парнем, только несколько робким.

– Представляете, – смеялась Лида, – он даже в булочную ходить опасается. А все почему?

– Почему?

– Кейджиби боится!

При этом слове Тимоша тревожно вскинулся, но Дмитрий Павлович (он уже порядком выпил) приобнял его дружески и стал на ломаном английском объяснять, что никакого кейджиби у нас уже нет, а есть эфесбе, которому нет дела до заезжих канадских придурков.

Через некоторое время Тим, непривычный к российским возлияниям, заснул на диване. Но у нас за столом обсуждение его персоны продолжалось.

– Фамилия его Айкен, – рассказывала Лида. – Это в переводе означает «я могу». На самом деле ничего он не может.

Мы узнали, что Тим нигде не работает и, кроме пенсии по инвалидности, средств у него никаких нет. Лида как женщина ему, конечно, очень нравится, но без виагры он в постель к ней не идет, да и то надо долго уговаривать.

В общем, слушая ее, мы с Тамарой недоумевали – очень уж Тимошин образ не вязался с ее же, Лидиными, описаниями «настоящего» мужчины. Пусть он прекрасной души человек, пусть даже не чаёт этой своей прекрасной души в Лидиной дочке. Но разве нас таких, как он, в России не довольно? Зачем было импортировать из далекой Канады еще одного бедолагу?

– Ну а все-таки что ты в нем нашла? – выпытывала у Лиды Тамара. – Признайся мне как подруге.

И тут я впервые увидел, как Суркова краснеет.

– Не знаю... – ответила она почти шепотом. – Полюбила, наверное...

Настенька

Неужто я по ней соскучился? Тамара, распаковывая чемоданы, щебечет без умолку о прелестях дайвинга – видать, намолчалась там, под водой. Дмитрий Павлович обложился телефонными трубками и что-то басит начальственным тоном – он уже весь в делах. А я стою и гляжу в окно на поблескивающий далеко в небе самолет. Интересно – на взлет он идет или на посадку? Москва из их окон выглядит совсем не так, как из моих. У себя я вижу собачью площадку, крышу продуктового магазина и соседние панельные многоэтажки. Где на бок, где «на попу» они поставлены, конечно согласно замыслу архитектора, но мне со своего балкона этого замысла не уразуметь. Отсюда же совсем другая картина. С высоты двадцать четвертого этажа город открывается вполне осмысленной и величественной панорамой. Уверен, что за эту панораму риелторы, продававшие Дмитрию Павловичу квартиру, взяли с него особо. Что ж, зато мы с Филиппом любовались ею совершенно бесплатно – две недели, покуда возлюбленная пара принимала морские ванны. Теперь, я думаю, столько же времени понадобится Тамаре, чтобы вымести из квартиры собачью шерсть и другие следы нашего пребывания.

Загадка самолета не разрешилась – он просто уполз за облако. Пора уползать и нам с Филом. Встретились, поцеловались – и до свидания; людям требуется отдохнуть с дороги. Будем надеяться, что в наш собственный дом снова дали горячую воду. А жаль немного. Нас здесь даже и страж подъездный начал уже признавать. Вообще-то мы с Филом не очень похожи на тутошних обитателей, так что поначалу мне казалось, что консьержа подмывает спросить, кто я такой и чем промышляю. Но он – гордый орденосец – не спросил и никогда теперь не узнает, что я писатель, а здесь приживался временно, чтобы поливать цветы своей бывшей жены. А также потому, что в микрорайоне лоу-класса, где я прописан и где мне настоящее место, летом чинят худые трубы.

Две недели, пока Тамара с Дмитрием Павловичем наслаждались адриатической природой, я наслаждался благами цивилизации. До чего приятна жизнь в элитном квартале! Утром здесь не урчат, чихая и отплевываясь, дворовые «жигули». Они не тревожат ничьих ушей, потому что их тут нет, но если б и были, никто не услышал бы их за тройными стеклопакетами. На рассвете безмолвные, таинственные, словно эльфы, дворники сделали свое дело и растаяли в солнечных лучах. Проснулся, заискрился фонтан. И вот уже от подъездов в направлении паркинга шествуют по свежевыветеным, вспрыснутым влагой тротуарам господ в добротных костюмах. Они помахивают добротными кожаными кейсами и поверчивают на пальцах брелоки с ключами от своих добротных авто. Эти господа – московский хай-мидл, надежда и опора новой России. А «новая Россия», народившаяся здесь, в башне из монолит-кирпича, в это время еще посапывает в колыбелях или ест уже кашку. После того как главы семейств разъезжаются по своим офисам, в доме и во всем квартале остаются одни иждивенцы. Это те, для кого господа-труженики являются опорой в прямом смысле слова: их малые дети, красавицы жены и мамы, выписанные откуда-нибудь из Люберец. И хотя весь этот оставшийся народец не создает прибавочной стоимости, но именно для него здесь в обширном дворе разбита аллея и журчит фонтан, для него устроены по первому разряду детские и собачьи площадки и фитнес-центр, который с утра уже вывесил табличку OPEN.

Очень, очень комфортной была наша с Филиппом жизнь в элитном квартале. Конечно, есть в Москве и ее окрестностях места еще шикарнее, но оттуда, говорят, возврата уже не бывает. Но где бы ни жили мы с Филом – временно или постоянно, – утром мы всегда встаем по зову естественных надобностей. То есть тогда только, когда у Филя кончается выдержка и он начинает лизать меня в нос, чтобы я чихнул и проснулся. Обычно это случается где-то уже в предполуденный час, то есть в тот час, который в любом, элитном ли, неэлитном, городском дворе можно было бы назвать часом иждивенца. Орденосец в холле провожал нас взглядом,

в котором читался недоуменный вопрос. Несколько раз меня тянуло с ним объясниться, но я не мог, потому что естественные надобности Фила не терпели отлагательства. Да и вряд ли отставной военный понял бы, чем неслужащий литератор отличается от бездельника.

По пути к собачьей площадке мы могли наблюдать картину полного демографического благополучия, взятую в отдельном дворе. Его, словно яхты во время регаты, неспешными караванами бороздили детские экипажи. Они плыли по дорожкам или покачивались, причаленные у лавочек. Лики младенцев-колясочников в кружевных окладах обращены были к небу. Мамочки, нянечки и бабушки пасли разноцветные, разновозрастные стада тех, кто уже осваивал земную твердь. Топотом маленьких ног, сопеньем и неумолчным щебетом наполнены были детские площадки, похожие на ожившие цветочные клумбы. Сколько жизни, энергии в этих небольших созданиях!.. Минутная пауза берется лишь для того, чтобы поискать в носу, но взгляд падает на собачку, которая тащит на поводке забавного дяденьку. Дитя раздражается счастливым смехом, и нос его прочищается сам собой...

Прелестная ежеутренняя картина, но нам было некогда ею любоваться. Надобности влекли Фила на собачью площадку, а Фил влек меня, словно катер водного лыжника. Собачья площадка здесь – это поэма чистоте. Вы не поверите – ее можно пересечь из конца в конец, ни разу не вляпавшись в свежие экскременты. В углу ее даже поставлен ящик со специальными отрывными пакетами, хотя я не видел, чтобы ими кто-либо пользовался. Филипп и другие кобельки употребляли этот ящик как почтовый. Я надеюсь описать эту площадку подробнее, чтобы воздать ей должное, но Филу этого описания не покажу. Он не разделял моих восторгов; ему милей площадка под нашим домом – та самая, которая видна из моего окна и которая никогда не пустует. Там для собак есть только старый прогнивший бум и обгрызенная грузовая крышка, но зато много других развлечений. Лавочки по ее периметру – те из них, что еще целы, – заняты обыкновенно местными любителями пива. Если повилать перед ними хвостом и выразительно пошевелить бровями, то можно получить иногда кусочек соленой рыбки. Вечерами, после захода солнца, на этих же лавочках целуются тинейджеры и вырезают ножиками свои послания миру. Съедобного у них ничего нет, кроме жевательной резинки, но для песика всегда найдется приятельское слово, а девочки еще и почешут за ухом.

Впрочем, все это лирика, а если подопрет, оправишься где угодно. Следующие полчаса уходили у Фила на то, чтобы отдать дань естеству, а у меня просто уходили. Потом мы возвращались в квартиру Дмитрия Павловича. После завтрака для нас обоих наступало личное время. Филипп, прежде чем заснуть, лизал, отвалиясь, свой набитый живот или пробовал на зуб хозяйскую мебель, а я... что делал я? Спорить не стану, в этот час для меня создавались все предпосылки, чтобы сесть за работу. Ноутбук мой призывно светился на столе в кабинете Дмитрия Павловича. Не топали над головой соседи, не свистали, как я уже говорил, под окнами машины, даже кран на кухне не капал. Стерильная, дистиллированная тишина окутывала меня. Но поверьте, в такой тишине хорошо релаксировать мидлу, псу покойно лизать свой живот. Творить же в такой тишине абсолютно невозможно. Кто-то, возможно, скажет, что это дело привычки. Пусть так, но на то я и тонкая творческая личность. Меня трудно ввести в рабочее состояние, а вывести из него – раз плюнуть.

Так что после завтрака я не писал. Пару сигарет я выкуривал у окна, созерцая город с высоты птичьего полета, – но не для того, чтобы привести в порядок толпящиеся думы, а с тем лишь, чтобы убедиться в их отсутствии. Может быть, я напрасно винил во всем квартиру Дмитрия Павловича. Сказать по совести, такие припадки безмыслия случались и случаются со мной при самых разных обстоятельствах, и я давно уже знаю, что надо и чего не надо делать при подобных обстоятельствах. Собственно, рекомендаций две: не надо пытаться работать, потому что толку все равно не будет, а надо пойти погулять.

Этим своим рекомендациям, основанным на жизненном и писательском опыте, я и следовал. То есть, покурив у окна, опять одевался на выход и, оставив Филиппа старшим по квар-

тире, сам с чистой совестью отправлялся гулять. Из стратосферы элитной квартиры я вновь спускался в благоухающий эдем элитного двора. Я шел в аллею и располагался на лавочке близ фонтана. Здесь в сени струй я замирал надолго – по-прежнему в безмыслии, но теперь уже блаженном. Я уподоблялся парковому изваянию. Голуби путешествовали у меня между ног и безбоязненно вспрыгивали мне на ботинки. Гуляющие мамочки переставали замечать меня, и я мог отчетливо слышать такие их взаимные откровения, которым бы удивились, наверное, даже их собственные мужья. Зато я исподтишка за ними наблюдал. Мне не стыдно подглядывать и подслушивать за людьми, потому что даже в безмыслии я писатель.

А мамочки в этом дворе были довольно симпатичные. Симпатичные, как – мне не приходит в голову другого сравнения – как офицерские жены. Этих жен я видел в стародавние советские времена, когда был еще подростком и жил в Васькове. Неподалеку от нас тогда располагался военный городок (не знаю, существует ли он теперь), куда мы, минуя КПП, ходили через дырку в заборе, чтобы купить себе еды. Так вот, кроме военторга, в городке этом было еще на что посмотреть. Тамошние офицеры, странствуя по долгу службы, привозили с дальних «точек» таких красавиц, что можно было только ахнуть. Во всяком случае на нас, провинциальных юношей, они производили сильное впечатление, и мы высказывали его в присущей нам грубоватой манере. «Женщины „при делах“» – так мы о них говорили, и, что бы ни значило это выражение, я вспомнил его, глядя на мамочек из элитного двора. Хотя понимал, конечно, что эти «дела» взросли не милостью природы, не на дальних точках страны, а стараниями косметической медицины. А и где теперь ее встретишь – натуральную женскую красоту, не протезированную, не тронутую скребком и скальпелем, не изувеченную тренажерами? Вся надежда на возрождение армии: вот будут заново отстроены военные городки, и опять полетят молодые офицеры на дальние «точки».

Но из всякого правила бывают исключения, и в этом я имел счастливую возможность убедиться именно здесь, в элитном дворе, у фонтана, при созерцании местных элитных мамочек. Подобно прочим, исключение неспешно-неспешно плыло по аллее, толкая перед собой подобную прочим коляску. Но я отличил ее сразу. Поверьте, женщины, ни один косметолог в мире не сделает вам таких милых ямочек на щеках, такой очаровательной улыбки – это работа природы. На ней было свободное летнее платье, но я умею смотреть в глубь вещей. Под тонкой тканью угадывались естественное совершенство ее тела и свободное колебание его частей. Это был настоящий образец натуральной, экологически чистой женской красоты. Не скажу, чтобы я пришел уже в такой возраст, когда подобными шедеврами восхищаются бескорыстно, но тогда я смотрел на нее глазами художника...

Звали ее Настя Савельева. Я, наверное, не узнал бы ее имени, если бы тот день не выдался таким теплым и солнечным. По случаю хорошей погоды гуляющих во дворе было так много, что в аллейке у фонтана, где я сидел, не оставалось свободных скамеек.

– Разрешите? – услышал я нежный голос и поднял взгляд. Платьице ее просвечивало в контражуре.

– О да, конечно! – воскликнул я и даже зачем-то привскочил.

В коляске, которую она катила, я различил крошечное смугловатое пятнышко младенческого лица.

– Какое прелестное дитя!

– Да, мне все это говорят, – она улыбнулась, и на щеках ее заиграли ямочки.

Если бы не эта ее благодарная улыбка, я, возможно, не решился бы предложить ей свою беседу. Я бы сидел, искоса тайно ее рассматривая и сочиняя разные истории, героиней которых она могла бы быть. Но красавица улыбнулась, я расплылся в ответной улыбке, и мы разговорились, словно были давно знакомы. И мне не пришлось про нее ничего сочинять, потому что она сама о себе все рассказала. За один только комплимент ее милому дитяти (которому

отдельное спасибо) она подарила мне собственную историю, а я, хотя и без надежды на комплименты, счел своим долгом поделиться ею с вами.

Итак, жила-была девушка Настя. Не в Москве и не на дальней «точке», как вы могли подумать, а примерно посередине. Город Энбург, где она росла и расцветала, был большой, но провинциальный. И по причине этой провинциальности многие блага цивилизации, такие, например, как ночные танцклубы, еще недавно оставались для энбуржан до некоторой степени экзотикой. Хотя многие Настины подружки по медучилищу уже побывали в этих заведениях, сама она их не посещала ни разу. И не только по финансовым соображениям, а главным образом потому, что там постоянно отирались так называемые «крутые». Дело в том, что в Энбурге на ту пору еще не совсем ушли в прошлое дикости переходного периода. Везде, а особенно в ночных клубах, можно было встретить здоровенных мужчин с мрачными лицами и такими плохими манерами, что всякое место, где они появлялись, сразу становилось злчным. Эти «крутые» казались Настеньке неприятными и опасными типами. Такими они, в сущности, и были, хотя в некотором смысле их стоило пожалеть – ведь их время кончалось даже в Энбурге. Они походили на остатки разбитого войска, на солдат, прозевавших конец войны и слоняющихся без дела, бряцая заржавевшим оружием и кроя окружающим свирепые мины, чтобы скрыть свою растерянность. Впрочем, речь не о них, а о Настеньке.

Я сказал, что она не ходила в ночные клубы, и это правда. Не ходила ни разу, пока соседка по общежитию (Катя, кажется, – они с Настей по сей день переписываются) – пока эта соседка не уговорила ее нарушить обет. Так что одним прекрасным вечером они все-таки пошли – взявшись под локоток, две подружки пошли в ночной клуб. Туда, где Катя уже бывала два раза, а Настя ни одного. Впрочем, выражение «прекрасным вечером» я употребил только для формы. На самом деле вечер принес Настеньке одни огорчения. Во-первых, единственный лонг-дринк, который она себе позволила, стоил ей полстипендии, а во-вторых, ее ужасно разочаровал, как бы это сказать... мужской контингент. Нет, не подумайте, будто Настя шла в клуб с намерением кого-нибудь подцепить. Просто у них в медицинском... ну вы понимаете... учились одни сплошные девчонки. Здесь-то, в клубе, мужского пола было пруд пруди, но что это были за мужчины! Кроме «крутых», с которыми Настя даже взглядом боялась встретиться, по залу шатались какие-то взмокшие, неестественно возбужденные юнцы. Причину их возбуждения она, как профессиональный медик, распознавала по расширенным зрачкам, и это возбуждение ей отнюдь не передавалось.

В клубе гремела музыка, и подруга Катя давно уже затерялась где-то в чаще танцующих. А Настя не танцевала – она сидела на высоком табурете у стойки бара и тянула свой нескончаемый лонг-дринк. Уйти, не допив, она не могла – это было бы предательством по отношению к потраченной стипендии. Но все когда-нибудь кончается, кончился и злосчастный коктейль. Настенька повернулась на табурете и вытянула свои стройные ножки, чтобы встать на них и покинуть дурацкое заведение. Так бы она и сделала, если бы ножки – буквально на один миг – не подвели вдруг свою хозяйку. Дринк оказал ножкам плохую услугу – они чуточку подлюмились. Настя потеряла равновесие на тонких каблучках, пошатнулась и... кто знает, может быть, даже и сыграла бы на пол, к полному своему стыду. Но в это мгновение чьи-то сильные руки подхватили ее и удержали в приличествующем юной леди вертикальном положении.

– Извините, это я вас, наверное, толкнул, – раздался откуда-то сверху приятный мужской голос.

Девушка подняла голову... и слова благодарности замерли на ее устах. Спаситель ее был высок ростом и широк в плечах. «Крутой!» – мелькнула догадка, и Настя подумала, что лучше б ей было упасть.

– Началось... – пробормотала она дрожащим голосом.

– Что началось, простите? Позвольте, я вам помогу.

«А голос красивый... Странно... И лицо какое-то доброе...» Настины мысли, как и ее ножки, слегка вышли из-под контроля. Смутившись, она опустила голову. Если бы она не опустила голову, а сразу бы сказала: «Да, – мол, – проводите меня к выходу»; или лучше: «У меня закружилась голова, помогите мне присесть», – если бы она не опустила голову, а так сказала, то вечер – уже тот вечер! – мог бы и вправду стать прекрасным. Но... Настенька опустила голову и увидела, что у нее поехали колготки. Как и где она ими зацепилась, неизвестно; возможно, они изначально были дефектными. Дело не в этом, а в том, что с поехавшими колготками, как вы понимаете, ни о каком продолжении знакомства речи быть не могло. Сделав свое ужасное открытие, Настя разом протрезвела.

– Нет, – сказала она холодно. – Спасибо, но выход я найду сама.

Так закончился ее поход в ночной клуб. Он обошелся ей в полстипендии и одни колготки, но можно сказать, что она дешево отделалась. Катя, ее соседка, явилась только под утро и призналась, что потеряла нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги. Впрочем, она весь вечер вела себя так, словно этого добивалась, и вообще Катины проблемы нас сейчас не интересуют. Настя же после того случая в ночной клуб больше не ходила. И не потому, что у нее не было других колготок, а просто потому, что ей стало некогда. В медучилище началась практика, проходить которую Настю распределили в ЦБ – энбургскую центральную больницу. Со студентками там не особенно церемонились, а с Настей, при ее покладистом характере, и вовсе. Ей частенько доставались ночные дежурства, притом не где-нибудь в спокойной терапии, а в травмопункте. Травмопункт – это такое место, где не дай бог кому-либо оказаться – будь то в качестве пациента или работника. Побывавши там, надолго расхочешь не только шляться по ночным заведениям, но и вообще выходить из дома. За месяц своей практики Настя нагляделась такого, от чего другая девушка, без медицинской подготовки, потеряла бы сон и душевное равновесие на всю оставшуюся жизнь.

Ночной травматизм в Энбурге носил, как правило, криминальный характер. Люди в возрасте, одетые кое-как, попадали в травмопункт в результате пьяной бытовой поножовщины, а те, что помоложе и покрепче, – в основном с пулевыми ранениями. Это как раз и были «крутые», которые еще продолжали по привычке перестреливаться меж собой. Резаные держались скромно, а крутые – нагло и агрессивно, но здесь, на работе, Настя их не боялась и сама определяла, кому надо сразу к доктору на стол, а кому посидеть пока в приемной.

Дежурство за дежурством несла Настя свою вахту. Неделя, другая – глядишь, и отбыла бы она практику. А там сдала бы сессию, закончила училище и поступила бы в медицинский институт. Вышла бы со временем замуж за приличного человека. Стала бы участковым доктором – например, педиатром, – и ее любили бы дети. Так бы все и случилось, если бы Настя отбыла свою практику. Но тогда это была бы другая история, и не сидеть бы нам с ней у фонтана в московском дворе.

А обернулось все по-другому. Так обернулось, что Настя век должна благодарить больницы начальство, которое уpekло ее дежурить в травмопункт. Одним прекрасным вечером – теперь уж точно прекрасным, единственным, наверное, прекрасным вечером в истории этого печального учреждения – «скорая» привезла в травмопункт очередного бедолагу. Настя мельком взглянула: пациент был крупного телосложения и одет в спортивной костюм.

– Огнестрельное? – профессионально поинтересовалась она у фельдшера «скорой».

Фельдшер пожал плечами:

– То-то что нет. Говорит, привычный вывих.

– Странно... – Настя присмотрелась к больному, и... сердце ее забилось: перед ней, придерживая одну руку другой, стоял тот вежливый незнакомец из ночного клуба. – Странно... – повторила она, розовея щеками.

Нечего говорить, что с этой секунды он стал Настиним личным пациентом. Минувя ожидавших увечных, всех резаных и огнестрельных, она без очереди провела его к доктору. Тот

вправил руку в два счета, так что Настя не успела даже выйти из кабинета. Молодой человек лишь вскрикнул своим приятным голосом, а уж дело было сделано. Доктор подмигнул Насте.

– Побольше бы нам таких пациентов, – сказал он удовлетворенно. Этот врач любил вывихи и переломы, а шить ему не нравилось.

Больной перевел дух, поблагодарил доктора и повернулся к сестре. Тут только он ее и узнал...

– А ведь мы с вами встречались, – произнес он с улыбкой на все еще бледном лице.

– Я помню, – ответила Настенька и опустила глаза. На этот раз колготки ее были в порядке.

– Вот, значит, где вы работаете. А я ведь тогда подумал, что вы из этих... из «бабочек».

– А я подумала, что вы из «крутых».

– Что вы, – он опять улыбнулся, – это я в спортзале руку вывихнул.

– Я рада.

– Дети мои, может быть, вы потом порадуетесь? – перебил их доктор. – А то у меня клиентов полна приемная.

Доктор Попов был человек, в общем-то, не злой, но он всю жизнь практиковал в травмопункте и от этого немного очерствел душой. Впрочем, он был прав: работа есть работа. Настенька пожелала молодому человеку впредь беречь свою руку, а сама вернулась к исполнению обязанностей. Однако в продолжение всего дежурства мысли ее то и дело улетали куда-то далеко, очень далеко за пределы травмопункта.

Но все вышеописанное можно считать только присказкой. А самая сказка началась утром, когда Настя закончила свое дежурство. Прямо у ворот ЦБ ее встретил – кто бы вы думали? – он, обладатель приятного голоса, привычного вывиха и, как оказалось, очень приличного автомобиля.

– Доброе утро! – сказал он. – Разрешите наконец представиться: меня зовут Иван Савельев. Не хотите ли выпить со мной кофе?

– Я устала, – ответила Настенька. – Но кофе с вами выпью. Меня зовут Настя.

Она не учла, что в этот ранний час в заведениях Энбурга кофе еще не подавали. А если бы и учла, все равно бы не отказалась. Но если кто-то решил, что она уже хотела близости с этим малознакомым Иваном, то он ошибается. Во-первых, Настя устала после ночного дежурства, а во-вторых, она была девушка не того сорта. Как бы то ни было, в машину она села. Иван нажал какую-то кнопку, и в салоне зазвучала прекрасная музыка. Машина поехала. Дорогой девушка немного волновалась, но в конце концов задремала. Когда Настя открыла глаза, они уже прибыли на место.

Как и следовало догадаться, Иван привез девушку не в кафе, а прямо к своему дому. Дом был простой, пятиэтажный. Исполненная к своему спутнику необъяснимого доверия, Настенька поднялась с ним по лестнице и вошла в его квартиру. Жилище Ивана было неплохо обставлено, особенно в сравнении с общежитием медучилища. Хозяин усадил девушку на кожаный толстый диван, а сам отправился на кухню варить кофе, не забыв нажать кнопку на музыкальном центре. И музыка полилась, заполняя комнату, так же, как давеча заполняла салон автомобиля. Утопая в ней и в мягком диване, Настенька опять стала задремывать, задремывать... пока не уснула совсем.

И ничего на этот раз не случилось такого, о чем бы девушка впоследствии могла пожалеть. Проснувшись Настенька на том же диване, только под головой у нее лежала подушка, а сама она была укрыта пледом. Она открыла глаза и увидела, что в кресле напротив сидит Иван. Собственно, они открыли глаза одновременно, потому что, уложив Настю, Иван некоторое время любовался на нее спящую, пока сон не сморил и его. Они встретились взглядами, и Иван произнес:

– Какое счастье видеть, что ты просыпаешься у меня в доме.

Настенька улыбнулась:

– Квартира у тебя хорошая.

Он покачал головой:

– Квартира так себе, но она не моя, а служебная. Моя квартира в Москве, а в Эмбурге я по развитию бизнеса.

– Вот как... – улыбка погасла на Настином лице. – Вы, значит, командировочный. Теперь мне понятно.

– И ничего тебе не понятно, – огорчился Иван. – Ты думаешь, я хочу с тобой поразвлекаться, а у меня намерения самые серьезные. Обещаю, что, пока мы не распишемся, я ни на что не посягну. А когда распишемся, я увезу тебя в Москву. Мы станем жить в прекрасной квартире, и во дворе нашего дома будет фонтан.

– Мне надо подумать, – ответила Настенька. – И ты собирался сварить кофе.

О дальнейшем она поведала мне вкратце, потому что ей уже пора было ехать на кормление. Расписались они в тот же день, стало быть, думала Настя недолго. В травмопункт и в училище она больше не вернулась. Доктор Попов, встретив ее случайно на улице, сказал, что, погубив свою карьеру, она сделала глупость. Настя очень смеялась. Через месяц Савельевы переехали в Москву. Ивана повысили в должности, и, надо надеяться, не в последний раз.

Развод по-риелторски

Вот мы и дома. Свое жилище я опознал бы с закрытыми глазами. Вы замечали, что всякое насиженное жилье имеет свой собственный неповторимый аромат? В нашем васьковском домике, например, тоже пахло по-особому – пока были живы мои родители. А когда они умерли, запах улетучился.

Чтобы почувствовать аромат места, надо куда-нибудь на время отлучиться. Наезжая в Васьково из Москвы, я слышал его, а родители нет, потому что отлучались самое дальнее в огород или в продуктовую палатку.

В моей холостяцкой квартире два главных запаха – пепельницы и собачьей шерсти. В наше с Филом отсутствие их надежно сохраняют закрытые форточки. Форточки я запираю каждый раз, уходя надолго, а зачем – не знаю. Рефлекторно. Зато по возвращении, потянув носом, я всегда могу сказать: «Вот мы и дома!»

Впрочем, некогда букет здешних запахов был сложнее. В него вполетались линии борща, парфюма и всего того, что обозначает присутствие женщины. Но потом Тамара ушла, и никаким закрытым форточкам было не удержать в квартире женского аромата. Несколько месяцев он угасал в обивке дивана и в дальних углах платяного шкафа и наконец исчез совсем. В этой квартире больше не пахнет Тамариным борщом. В наши супружеские времена я не интересовался способом его приготовления – помню только, что на кухне Тома всегда напевала. Теперь же спросить у нее рецепт мне не позволяет самолюбие.

Правда, в те годы здесь не пахло собачьей шерстью. Филипп родился сравнительно недавно и понятия не имеет о том, какая драма случилась в этих стенах. С Тамарой он знаком, но для него она – женщина Дмитрия Павловича. Что ж, пусть Фил так думает, тем более что так оно и есть.

Фил дрыхнет на диване, из которого давно выветрился Тамарин запах, и его не беспокоят воспоминания. Если на кухне что-нибудь громыхнет, он не проснется – Фил знает, что это всего лишь плохо поставленная тарелка. И если входная дверь от сквозняка дернется в замке, это тоже не нарушит его сна. А у меня от таких звуков до сих пор иногда екает в груди. На одну секунду, на долю секунды я забываю реальность, и мне кажется, что из кухни сейчас донесется Томино мурлыканье. Или что входная дверь отворится, потом хлопнет, и я услышу: «Милый, ау!» Стукнут и покатаются по полу туфли, сброшенные с усталых ног. И я вздохну с облегчением оттого, что это действительно она, и оттого, что нынче я «милый».

В последние годы нашего совместного проживания «милым» она звала меня нечасто. Вина за это лежала целиком и полностью на мне. Дело в том, что я на ту пору спознался с прозой, а это было все равно как если бы я привел в дом другую женщину. Сам я не видел в этом ничего плохого: пусть бы одна меня утешала и дарила редкие минуты наслаждения, а вторая кормила, обстирывала и читала нотации. Но на беду мои дамы оказались обе слишком ревнивы. Тамара сердилась из-за того, что я со своим писательством забыл о мужских обязанностях – зарабатывании денег и чистке ковров пылесосом, а проза, та просто не выносила Тамариного присутствия.

Однако не моя графомания послужила причиной ее ухода. Наоборот, если бы не развод, я уверен, Тамара бы одолела соперницу. Ей не впервой было душить мои творческие порывы. Когда я по молодости вздумал заняться фотоискусством, Тамаре хватило года, чтобы убедить меня в моей бездарности. Правда, тогда она любила меня по-настоящему.

Но не будем о любви. Все равно я уверен, что невычищенные ковры были только к слову, а брак наш пал жертвой общественных перемен, произошедших в стране. По моей теории люди бывают двух типов: мыслящего либо деятельно-практического. Когда в обществе происходят решительные перемены, мыслящие типы скатываются вниз по социальной лестнице,

а деятельные делают карьеру. Штука в том, что не каждый человек знает наперед, к какому типу он относится. Вот когда грянули перемены и я покатился вниз, я понял, что я человек мыслящий. Тогда-то я и увлекся фотоискусством. А Тамара устроилась на одну фирму, потом на другую и с тех пор непрерывно двигалась вверх по служебной лестнице. И мне пришлось отнести ее ко второму типу.

Но дело, конечно, не в наших типических различиях. Мужчина от женщины вообще отличается, но это, как правило, не мешает им состоять в браке. Дело в роковом стечении обстоятельств. Так совпало, что в один и тот же день Тамару в очередной раз повысили в должности и некто, оставшийся неизвестным, наблевал у нас в лифте.

Вечер того дня я не забуду. Так же примерно, как сейчас, я сидел у компьютера и пытался творить. Но проза капризничала. Ей не нравилось, что я отвлекался и вздрагивал, если вздрагивала входная дверь. Так же, как сейчас, я прислушивался ко входной двери, но тогда я действительно ждал Тамару. Я слегка беспокоился, потому что она опаздывала к ужину. Впрочем, дверь, как обычно, с докладом опоздала. Я узнал стук Тамариных каблучков на подходе и вздохнул облегченно еще до того, как ключ повернулся в замке. Дальше все было так, как я описал четырьмя абзацами выше, только на самом деле. Дверь хлопнула, покатались туфли...

– Милый, это я!

В первый момент я удивился, потому что «милым» последнее время она звала меня нечестно. Но обращение обязывало, и я вышел в переднюю для поцелуя. Там все и объяснилось: моя «милая» явилась навеселе.

– А меня, чтоб ты знал, опять повысили! – сообщила она, оглядывая себя в зеркале.

– Поздравляю, – вяло отозвался я. – Ужинать будешь?

– Значительно повысили, – Тамара сделала зеркалу значительное лицо. – И у меня к тебе важный разговор.

– По какому поводу?

Я насторожился, потому что знал из опыта, что каждое повышение и соответствующая прибавка жалованья вызывали в ней всплеск потребительских амбиций. У нас и диван, и кухонный гарнитур, и домашний кинотеатр были вехами, знаменовавшими Томин карьерный рост. Теперь я предположил, что она снова заведет речь о ремонте, надобность в котором давно назревала в нашей квартирке и о котором даже мысль я старался гнать из головы. Но дело обстояло еще хуже...

– А по такому поводу, – нахмурилась Тамара, – что так дальше жить нельзя. В нашем лифте сегодня кто-то наблевал.

– А я-то здесь при чем? – пожал я плечами. – Смотри, куда наступаешь.

И тут ее прорвало. Дыша свежим коньяком, Тома сперва обличила блюющих соседей, потом заявила, что ей отвратителен самый дом, в котором «черт-те кто живет», и весь наш «забыдлянский» микрорайон. Суть ее жаркого монолога сводилась к тому, что она с ее уже статусом более не желает терпеть убогого существования. Сознывая в душе, что частью Томино убогого существования являюсь и я сам, я помалкивал, чтобы не навести ее на эту мысль. Я только пытался намекнуть, что пора бы ей наконец переодеться и смыть макияж. Но Тамара меня не слушала; она была человеком деятельного типа, а деятельные люди не болтают ради того лишь, чтобы поделиться наболевшим. Каждый разговор они завершают конструктивным предложением, как учат их в менеджерских школах. В тот вечер Тома не разделась прежде, чем озвучила свою новую идею – гораздо более «конструктивную», нежели даже ремонт квартиры:

– Нам надо менять место жительства! – объявила она.

Знаете, я никогда не умел спорить с женщинами в деловых костюмах. К тому же тогда я понадеялся, что хороший сон вернет Томе чувство реальности.

Однако назавтра она снова заговорила о переезде. С тех пор Тамара возвращалась к этой теме регулярно – за утренним кофе и за вечерним чаем. Уже вычищен был злополучный лифт,

уже я выражал готовность своими руками отремонтировать нашу квартиру – все напрасно. Конструктивная идея накрепко засела в ее голове, а в моем сердце поселилась тревога. Только не подумайте, будто я очень уж прикипел душой к своему вправду незавидному обиталищу. И не то чтобы я слишком боялся хлопот, неизбежно связанных с обменом, – их я заведомо препоручал Тамаре. Скорее всего, при мысли о светлом будущем я чувствовал – чувствовал инстинктом мыслящего человека, что мне в этом будущем места уже не найдется.

Разумеется, разговорами дело не ограничилось. Некоторое время Тома «изучала вопрос» самостоятельно и, поняв, что он ей не по зубам, вступила в сношения с некоей риелторской конторой. Услыхав об этом, я поначалу обрадовался. Господа риелторы, подумал я, образумят Тамару, объяснят ей, что дураки в Москве давно перевелись. Я уверен был, что нам не светило ничего, кроме обмена «шила на мыло», ведь в активе мы имели только убогую «двушку», а скромные наши накопления ушли бы на новое обустройство и комиссионные этим как раз риелторам. Но не тут-то было – оказалось, что риелторский бизнес потому и процветает, что дураков среди нас достаточно. И один из этих дураков пишет сии строки.

Риелторы начали с того, что отговорили Тамару от идеи обмена. Они посоветовали ей продать нашу квартиру и, взявши в банке ипотечный кредит, купить другую, хорошую, в будущей новостройке. «Прекрасная квартира, – говорили они. – Дом бизнес-класса, монолит-кирпич, сами убедитесь, вот он здесь, у нас в компьютере. А за вашу „двушку“ не беспокойтесь – мы продадим ее так, что вы и не заметите». Этот новый план понравился мне еще меньше прежнего. «Прекрасная квартира» существовала пока что лишь в компьютере у риелторов, а «двушку» надо было продавать теперь и немедленно. Кроме того, меня пугало само слово «ипотека». Я высказал Тамаре свои опасения, но в ответ услышал, что я ничего не смыслю в делах и вообще бескрылый человек. Что значило мое слово против риелторского, если в агентстве был такой роскошный офис и работали такие милые женщины, похожие на саму Тамару.

Тем не менее замечательный риелторский план столкнулся с проблемой на первом же этапе. И именно, как я предполагал, с ипотекой. Я только не думал, что проблемой этой окажусь я сам. Дело в том, что банк не мог ссудить Тамаре нужную сумму при наличии у нее иждивенца, то есть меня. Я не люблю этого слова; называйте меня неработающим членом семьи, тунеядцем, как хотите, но только не иждивенцем. Однако банк, тупая контора, определил меня именно этим термином, и я превратился для Тамары в проблему, которую надо было решать. Решать, но как? Если первое, что пришло вам в голову, – это заставить меня трудоустроиться, то вы не прозаик. Возможно, поэт или легковесный беллетрист, но не прозаик. Потому что не знаете, что, сделавшись прозаиком, человек перестает быть кем-либо другим. Пойти куда-то служить ради прокорма для него так же немислимо, как переменить пол, если, конечно, к этому не призвет его естество. Но моему естеству хватало Томиной зарплаты, и жертвовать искусством в угоду ипотечному банку я решительно не хотел. Тамара опять поехала консультироваться к риелторам, оставив меня замирать в нехорошем предчувствии.

И предчувствие не обмануло. Наутро (это был будний день) я приглашен был на кухню для беседы. Когда я вошел, Тома уже позавтракала и была в гриме; перед ней стояла напояженная чашка кофе, в руке дрожала сигарета.

– Милый, – взмахнула она на меня свеженакрашенными ресницами, – разве ты не хочешь узнать, что мне вчера сказали в агентстве?

Я подобрался:

– Очень хочу.

– Они сказали... Ты только не волнуйся, но они сказали, что чтобы получить ипотеку...

– Покороче, дорогая, не то опоздаешь на работу.

– Да... В общем, они сказали, что нам с тобой надо развестись. Фиктивно, конечно.

Пауза, образовавшаяся после ее слов, могла бы быть и дольше, но Тамару поджимало время.

– Что же ты молчишь? Как тебе креатив?

– А что говорить... – выдавил я. – Надо так надо.

– Ну вот и славно, – выдохнула Тома облегченно и погасила сигарету. – А то они беспокоились, как ты воспримешь. Вдруг потребуешь квартиру делить, то да се... А я говорю им: он человек интеллигентный. А они говорят: если интеллигентный, проблем не будет... Милый! – она хотела меня поцеловать, но, вспомнив про макияж, ограничилась осторожным объятием.

Довольная удачно проведенной беседой, Тамара выпорхнула из дому. Бодро цокая каблучками, она пошагала на службу в свою корпорацию, к очередным трудовым свершениям. А что было делать мне? Закрыв дверь за почти уже бывшей женой, я тоже отправился на работу, то есть прошаркал из передней в комнату, где стоял мой компьютер. Однако проза в тот день ко мне не пришла, и свершений у меня не было никаких.

Бракорасторжение наше состоялось скоро и цивилизованно. Я проявлял интеллигентность по всем вопросам, не пытался ничего отсуживать, так что подруга Суркова, специалистка в таких делах, сказала Томе, что ей можно позавидовать. Впрочем, развод был фиктивный. Как бы то ни было, парой месяцев спустя свободная и кредитоспособная Тамара уже належке шагала в ипотечный банк, а я, погрузивши в такси кое-какое свое барахлишко, отправлялся на жительство в Васьково. Это была Томина идея – переселить меня временно на дачу, чтобы не травмировать предстоявшими квартирными смотринами и вообще чтобы не путался под ногами.

И все-таки наш условный развод оказался очень похож на настоящий. Мы с Томой словно сели в разные поезда: ее отправлялся вперед, в светлое благоустроенное будущее, а мой, васьковский, ушел в противоположном направлении.

Правда, родина моего возвращения не заметила. Для наших васьковских соседей, многие из которых знали меня с детства, я давно уже был не свой, не чужой, а просто дачник. Я и сам ощущал некоторую иллюзорность моего статуса. Кто я был? Добровольный ссыльнопоселенец; фиктивный бобыль... В первую же ночь по приезде меня разбудили голоса под моим окошком. Я решил было, что на участок забрались жулики, но, приглядевшись, разобрал юную парочку, расположившуюся у меня на скамейке, будто в городском парке. Девушка поначалу робела и озиралась на дом, но ухажер успокаивал ее словами: «Не бойсь, здесь не живут». Скамейки мне было не жаль, тем более что молодые люди вели себя в общем-то тихо, но утверждение, что «здесь не живут», меня задело. На следующий день я завел родительские часы-ходики, установил компьютер и выстирал свои дачные штаны. Я повесил их во дворе – на просушку и вместо флага, как предостережение всем бродячим парочкам.

Врастание мое в деревенскую жизнь началось с перемены имиджа. Чтобы меньше отличаться от местных мужичков, я вместо импортных затейливых курточек стал повсюду ходить в отцовском старом пиджаке. Брился я теперь только по необходимости – лишь тогда, когда становилось колко спать. Вообще, изменялся я удивительно быстро, словно во мне заработала какая-то генетическая программа, выключенная в городе. Так собака, брошенная хозяевами, потужив, обращается в синантропного волка, если, конечно, прежде не сдохнет.

Я не старался никому особенно понравиться, но соседи отнеслись благосклонно к моему возвращению в первобытное состояние. Меня стали узнавать, здороваться. Однажды Вячеслав, проживавший в доме напротив, остановил меня на улице и принялся обстоятельно жаловаться на жену свою Ленку, которая блядовала – по всем признакам блядовала, только он не знал с кем. Возможно, Вячеслав так меня зондировал, предполагая, что его Ленка блядует со мной, но уже само это предположение делало мне честь. К собственному изумлению, в ответ я разразился такой искренней, такой сочувственной матерной речью, что Вячеслав немедленно предложил мне выпить с ним в порядке мужской солидарности. Оказалось, что бутылка была у него при себе – засунутая спереди под брючный ремень, как у какого-нибудь американца пистолет. И мы выпили с ним без закуски прямо у забора.

Конечно, говоря по совести, было и в этой моей новой жизни нечто фиктивное. Сосед Вячеслав с любого похмелья и невзирая на проблемы с Ленкой ходил каждый день на работу. Сосед Миха, алкоголик, на работу не ходил, но ежедневно поутру являлся на совещание к пивной палатке. Вячеслав зарабатывал деньги тем, что гнул железо на скобяной фабрике. Миха со товарищи в качестве рабсилы прислуживали на рынке азербайджанцам. Я же добывал средства к существованию в единственном на все Васьково банкомате. Это было немного стыдно.

Впрочем, я тоже трудился, хотя заявить так в присутствии Вячеслава и Михи я бы не отважился. Судите сами. Каждое утро, в полном и нарочном неведении всех письменных и теленовостей, не всегда даже надев трусы, я садился с чашкой кофе за компьютер. Писать. Раскрытое окно слева от монитора глядело в сад. Там на немолодых деревьях зрели яблоки и со стуком падали наземь. И, как эти яблоки, в голове моей спели и падали в текст слова. Их падение тоже сопровождалось стуком – стуком клавиатуры, который привлекал внимание толстой вороны, прилетавшей частенько на мой участок. Ей казалось, что я клюю что-то вкусное, и она не слишком ошибалась. Эта ворона была единственным существом в Васькове, кто знал, чем я занимаюсь, но и она едва ли считала меня тружеником.

Прервать меня могла только неотложная физиологическая надобность либо трель мобильного. Звонила, конечно, Тамара. Я со вздохом нажимал зеленую кнопку, и в аппаратуре раздавалось энергичное шуршание:

– Привет! Я тебя не разбудила?

– Нет.

– А почему у тебя такой голос?

– Я работал.

– Рассказывай сказки! Ну ладно, слушай...

И я получал очередную сводку с обменных фронтов. Какие-то справки, договоры, переговоры... это была информация, абсолютно лишняя для моих ушей.

– Хорошо, хорошо, – вклинивался я в Томин напористый доклад, – ты расскажи лучше, как сама живешь.

– Сама?... – пресекалась она. – Что сама? Слушай, сейчас мне некогда – расскажу, когда приеду.

Тамара действительно давно обещала выбрать выходной, чтобы приехать ко мне в Васьково:

– Надо посмотреть, как ты устроился, ну и вообще...

Это ее «вообще» означало, что она помнила еще, что друг для друга мы оставались мужем и женой, несмотря ни на какие бумажные разводы. Однако неделя проходила за неделей; минул месяц и другой, а наше с Томой свидание откладывалось, как говорится, «по независящим причинам». А потом между нами оборвалась и телефонная связь, но это уже по моей вине.

Несчастье случилось во время одной из моих прогулок. Дело в том, что если уж человек из города перебрался «на природу», то он просто обязан ходить в лес и на речку. Он может писать или жить трутнем, может пить или не пить водку с местным населением, но сходить вечером покормить комаров – это дело святое. Каждый вечер, если не было дождика, я отправлялся бродить по васьковским окрестностям. Иногда я узнавал места, памятные мне с детства, но чаще находил их сильно переменившимися. Позарасти в лесу знакомые полянки, речка кое-где подвинула берега, выросли молодые деревья, а старые многие хватило молнией. Впрочем, я не грустил – природа изменчива и текуча, но, меняясь, она умеет оставаться сама собой – в отличие от города.

Да, так вот во время такой моей прогулки беда и случилась. Помню, держал я уже возвратный курс; шел берегом по-над речкой. Прошатавшись изрядно, я приустал и, увидав у воды корягу, решил присесть на нее отдохнуть и перекурить. Однако коряга оказалась мокрая и грязная, поэтому садиться я не стал. Но закурил. И в этот момент словно услышал внут-

ренный голос. Или не голос, а просто почувствовал побуждение. «Посмотри, – сказала побуждение, – что это там на дне?» Такое бывает со мной нередко: «Посмотри туда-то... Сделай то-то...» – слышу я внутри себя и всякий раз безотчетно повинуюсь. Так и тогда: я склонился над водой, чтобы что-то разглядеть, якобы интересное, на дне, а в это время из моего нагрудного кармана выскользнул мобильник и булькнул в речку. Как это опять-таки нередко со мной бывает, побуждение или голос меня обманули – на дне не оказалось ничего интересного, теперь, конечно, кроме моего мобильника. Выуживать телефон из речки не имело смысла, я и не стал этого делать.

С тех пор Тамара мне не звонила. То есть звонила, наверное, но не могла дозвониться, потому что свой мобильник я утопил. Но она и не приезжала.

Близилась осень. Прохладнее становились ночи, да и дни тоже. Чаше и продолжительней становились дожди. Когда небо хмурилось, я задраивал окошко слева от монитора, выходящее в сад. Дождь барабанил о жестяной подоконник; я барабанил пальцами по клавиатуре; слова капали в текст и текли горизонтально струйками строчек. Я по-прежнему посвящал лучшие часы дня возлюбленной своей прозе. Ничто не отвлекало меня, и только приглушенный благовест васьковской церквушки отмерял мое время. Но однажды мои занятия были прерваны неожиданным стуком в дверь. Надев штаны, я пошел открывать. На крыльце стоял сосед Вячеслав.

– Здорово!

– Здорово!

В тоне его приветствия мне послышался вызов.

– В дом-топустишь или как?

– Заходи... Ты, собственно, по какому случаю?

– Ни по какому. Ленка дома не ночевала.

– А я тут при чем? У меня ее нет.

– Вижу... – пробурчал Вячеслав хмуро. – А почему у тебя штаны расстегнуты?

– Гостей, понимаешь, не ждал... Озадаченный не столько самим визитом, сколько его ранним временем, я поинтересовался у Вячеслава, почему он не на работе. Оказалось, что день был субботний.

– Совсем ты, сосед, опустился, – строго заметил Вячеслав. – Даже Миха субботу от пятницы отличает. Надо тебя взбодрить.

Разумеется, под ремнем у Вячеслава была бутылка. Мы сели с ним выпивать у меня на кухне. Мне показалось, что, успокоившись на мой счет, сосед забыл и про свою Ленку, потому что разговор у нас пошел на отвлеченные темы. Но после третьей или четвертой рюмки мысль Вячеслава неожиданно вернулась – не к Ленке, но к моей персоне.

– Вот не пойму я, сосед, почему ты все лето в отпуску. Может, по вредности? Колись, где такую дают. А то я железо гну, а гуляю две недели в год.

Пришлось мне «колоться». Я поведал Вячеславу, что я литератор, типа писатель, и что хотя сижу на даче, но все время при деле. А чтобы он мне не завидовал, я, как водится, соврал ему, что гнуть слово не легче, чем железо. Вячеслав мне, естественно, не поверил.

– Ладно, проехали, – сказал он. – Обходишься без работы, и молодец. Но как ты обходишься без бабы – вот вопрос. Что-то я твою супругницу давно не видел.

Я уже открыл было рот, чтобы что-то ему ответить, – не помню сейчас, что именно, но это не важно, потому что ответ мой прозвучать не успел.

– О ком это тут речь? – раздался в дверях знакомый голос.

Эта была Тамара.

– Легка на помине... – пробормотал Вячеслав, смутившись. – Ладно, мне пора.

Он засобирился и через минуту исчез, прихватив с собой недопитую бутылку. Ошеломленный Томиным внезапным появлением, я замер, не решаясь подойти и обнять ее. Я ждал

немедленного разноса за свое раннее пьянство, за бардак на кухне, да мало ли еще за что... Но странное дело – Тома выглядела почти такой же смущенной, как сбежавший Вячеслав.

– Знаешь, – сказала она тихо, – я тоже хочу с тобой выпить.

Я ушам своим не поверил.

– Но он... Вячеслав унес водку.

– Это не страшно, – улыбнулась Тома застенчиво. – У меня есть кое-что получше.

И она достала из сумки бутылку коньяка.

Теперь я был не просто ошеломлен, но ошарашен. Приводя в порядок обеденный стол, я пытался сообразить, чему приписать Томину небывалую душевность. Если она приехала праздновать покупку новой квартиры, то где фанфары? Почему она не выглядит победительницей? Грудь мою уже теснило тревожным предчувствием, но я не спешил с расспросами, полагая, что лучше будет, если дело разъяснится за рюмкой.

Наконец все было готово. Мы сели за стол. Тамара собственноручно открыла коньяк и налила нам обоим.

– Поехали! – заметно волнуясь, она подняла свою рюмку.

– Куда поехали? – уточнил я осторожно. – За что мы пьем, дорогая?

– Сейчас узнаешь...

Она залпом осушила рюмку и закусила яблоком. Я сделал то же самое.

– Ну, рассказывай.

Тома опять засмушалась, но постаралась себя преодолеть:

– Рассказываю... В общем, у меня, как говорится, две новости – хорошая и плохая. То есть плохая для тебя... а может, и не плохая, я не знаю, я ничего не знаю. Давай еще выпьем.

Мы выпили еще, но, кажется, Томе это мало помогло. Тем не менее она продолжила:

– Новость первая: квартиру мы нашу не продаем. Ты рад?

Сбитый с толку, я лишь пожал плечами.

– И новость вторая: я в ней больше не живу.

– Вот это интересно... – пробормотал я. – Можно подробнее?

Тамаре понадобилось опять выпить. Мне тоже.

– Понимаешь, – сказала она, восстановив дыхание, – мы познакомились в этом риелторском агентстве – он тоже квартиру покупал. Мы и подумали – зачем нам две?

– Вам? – мертвея, переспросил я.

– Нам, – прошептала она, и в глазах ее показались слезы.

Я встал. Я был страшен.

– Я тебе звонила! – закричала Тамара. – Я звонила, звонила!.. Почему ты был недоступен?

Уронив табурет, я вышел из кухни. Через минуту вернулся. Тома, рыдая, грызла яблоко. Не говоря ни слова, я сгреб со стола сигареты, рванул с гвоздя свой зонтик и выбежал из дому прочь.

Я шагал и шагал. Шагал, куда глядели глаза, а они глядели не видя. Вот и дождь начался, а я все шагал. Вдруг откуда-то донесся детский голосок:

– Дяденька!.. Дяденька!..

Но и уши мои слышали не слыша. Не сразу я понял, что голосок обращен ко мне, а когда понял, то машинально вскинул руку с часами:

– Два часа пятнадцать минут, девочка.

Сказав это, я осознал, что передо мной действительно стоит мокрая девочка, а в руках у нее какой-то сверток.

– Дяденька, возьмите собачку, – повторила она, видимо, уже в который раз.

– Давай, – сказал я не раздумывая и принял у нее сверток, в котором немедленно что-то запищало.

– Спасибо, – улыбнулась девочка и побежала от меня по лужам.

Надо было спросить, как зовут собачку, но я не догадался. Да я девочкиного-то имени не знал. Вернувшись домой, я внимательно изучил содержимое свертка. Существо оказалось мужского пола, примерно полутора месяцев от роду. Заглянув в святки, я нарек его Филиппом.

Маринованные орхидеи

Что есть первейшее из общественных благ? Конечно же, магазин шаговой доступности. (Ценовая доступность подразумевается, хотя это понятие относительное.) Если бы у нас везде были устроены МШД, то не нужна была бы ОП при президенте, потому что каждый такой магазин сам по себе есть замечательный гражданский форум. В торговом зале его мы громко заявляем о своих правах, на крылечке ведем продолжительные дискуссии, а на задворках осуществляем личные свободы, не установленные законом. И все это не отвлекая правительство от государственных дел.

Что касается моего микрорайона, то он в этом смысле благоустроен как нельзя лучше: ближайший магазин находится у меня прямо под окнами. При желании я могу плюнуть на его крышу, так что получается даже не шаговая доступность, а плевая. Построен этот магазин давно, и когда-то он назывался просто «Булочная». Булок в нем отродясь не бывало, но хлеб и твердые советские пряники купить было можно. Потом, когда в стране произошли всем известные перемены, магазин был приватизирован и стал называться «Булочная Роза Магазин». Кто была эта Роза – первая владелица магазина, жена владельца или его любимая женщина, сегодня уже никто не знает. За пятнадцать последующих лет торговая точка несколько раз меняла хозяев; вывеску обновляли, слова в ней переставляли местами, но набор их всегда оставался тот же. Я понимаю, что убрать «Розу» с вывески нельзя, потому что теперь это бренд. Но меня удивляет упрямство, с которым наш магазинчик по-прежнему именуется «булочной», ведь булок в нем как не было, так и нет. Зато, кроме булок, есть все, хотя и низкого качества. Невзыскательный потребитель, живущий в шаговом радиусе, в том числе и я, всегда отоваривается в «Розе».

Однако если же мне хочется непременно булок или какого-то непросроченного продукта, то приходится сделать на шаг больше. Метрах в двухстах от моего дома расположен большой современный гастроном. Считается, что он экономкласса, но это не значит, что покупатель может в нем шибко сэкономить, – здесь экономят на покупателе. В зимнюю пору старушки, словно кегли, падают на его обледелом крыльце, а в зале зимой и летом нечем дышать. Я уж молчу о хронической нехватке продуктовых корзинок и ключиков от камеры хранения. Гастроном-эконом – это у нас второй уровень потребительской достаточности.

Третий уровень, наивысший в нашем районе, олицетворяет магазин «Престол». От первых двух он отличается самооткрывающимися дверями и некоторыми строгостями внутри. Ну и ценами, конечно. Третий уровень находится от меня в трех шагах, но для моего кошелька он недостижим, как, впрочем, и для большинства здешних кошельков. Обычно мы проходим мимо «Престола»; чудесные двери его зазывно зевают, но ловят лишь воздух. Кассирша тут не перегружена работой – целый день она перелистывает бледными наманикюренными пальчиками гламурный журналчик или кокетничает с охранником.

Третий уровень потребления – не мой уровень; мой находится где-то посередине между «Розой» и экономом, да и то когда финансы мои в относительном порядке, а так бывает не всегда. Беспорядок в моих финансах наступает, если мне приходится делать какие-нибудь крупные покупки – например, ботинки или брюки. В таких случаях я, бывает, одалживаюсь у «зятя» – так я называю Дмитрия Павловича, мужа Тамары, моей бывшей жены. Мне это не слишком приятно, но деваться некуда. Я – писатель, следовательно, фигура публичная, следовательно, без приличных ботинок мне никак нельзя. Так рассуждаю я, и Тамара со мной согласна, хотя на самом деле ничто ни из чего не следует. Просто относительная моя известность как прозаика дает мне возможность беспрепятственно миновать фейс-контроль в некоторых московских литературных клубах. Время от времени я бываю то там, то тут на чужих презентациях и вручениях, если, конечно, эти мероприятия сопровождаются фуршетом. Хожу я туда не для

удовольствия, а с тем только, чтобы доказать Тамаре и Дмитрию Павловичу, что являюсь культурно значимой единицей. Иначе, подозреваю, он не стал бы мне ссуживать деньги на ботинки, и я бы не смог туда ходить.

Когда моя задолженность превышает мою кредитоспособность, Дмитрий Павлович не списывает ее, а реструктурирует. Процедура эта для меня тоже не очень приятная в моральном отношении. «Забудь про деньги, – говорит Дмитрий Павлович, – отдашь, когда сможешь». Первая часть фразы у него не вяжется со второй, потому что если я забуду про деньги, то не отдам уже никогда. Но это ладно. Хуже, что затем он начинает рассуждать о том, как бы пристроить меня к какому-нибудь делу, – конечно, не для того, чтобы мне с ним расплатиться, а чтобы я мог сам покупать себе ботинки. Разговоры на эту тему носят у нас ритуальный характер и никогда не заканчиваются ничем конкретным. Никогда, за исключением одного случая, о котором я сейчас расскажу.

Однажды Дмитрий Павлович позвонил мне и сообщил, что я приглашен на ужин. Ужин так ужин – я редко отказываюсь от подобных приглашений. Но было странно, что звонил он в середине рабочего дня. Если я пытаюсь связаться с ним в это время, Дмитрий Павлович не сразу вспоминает, кто я такой, и говорит со мной наводящим страх начальственным тоном. Впрочем, тон и на сей раз был командный, не допускавший возражений:

– Будь готов в половине восьмого. Мы с Тамарой тебя заберем.

Я попытался уточнить, по какому поводу предполагается ужин и почему мне непременно надо на нем присутствовать, но Дмитрий Павлович не стал входить в подробности.

– Некогда мне сейчас с тобой, – отрезал он. – Ужин деловой, а что к чему – там узнаешь.

Не вполне удовлетворенный его ответом, я перезвонил Тамаре. Менеджеры ее звена не так важничают, к тому же, судя по хлюпающим звукам, иногда раздававшимся в трубке, мой звонок застал ее за кофе в корпоративном буфете.

– А что тебе не ясно? – удивилась Тома и хлюпнула. – Дима нашел тебе работу и хочет с кем нужно познакомить.

– Вот оно что, – пробормотал я, – понятно. Но хотелось бы и мне быть в курсе.

– В курсе чего?

– Ну... где мы ужинаем и с кем.

– А Дима тебе не сказал? – Тома хлюпнула. – Ужинаем у Сырова в «Сырниках».

– Но с кем?

– С Сыровым, конечно.

Я помолчал, соображая. Гастрономическая фамилия всплыла из глубин моей памяти и... скрылась опять.

– И кто он, этот Сыров? – спросил я осторожно.

Тамара изумленно ахнула:

– Как это – кто? Ну ты даешь, писатель! Он же знаменитость; у него все ваши кушают.

– Наши?

– Ваши, ваши – культурная общественность. Он тебя прочитал, и ты ему понравился.

Хочет тебе книгу заказать.

– Поваренную?

– Почему поваренную... ну, может, и поваренную. Какая тебе разница, если деньги заплатят?

Ситуация более или менее прояснилась. Идея с поваренной книгой меня не очень вдохновляла, но познакомиться с Сыровым и его заведением, наверное, стоило. Обидно ведь звать себя московским прозаиком и не знать, где кушает культурная общественность. То есть та ее часть, что имеет средства ходить по ресторациям.

В восемь, точнее, в восемь сорок вечера к моему подъезду подкатил Гелендваген, а в нем Дмитрий Павлович, Тамара и водитель Дима-маленький. Я уселся, поцеловал свою бывшую жену, и мы поехали.

Пробка – рывок, пробка – рывок... мы ехали по Москве. Ресторанов по обеим сторонам дороги было множество: с позлащенными турникетами, с гардами у входа, похожими на Диму-маленького. Ковровыми красными языками заведения слизывали подъезжавшую клиентуру, но клиентура эта не выглядела как культурная общественность. Потом Гелендваген свернул с проспекта и стал пробираться переулками. Здесь уже не было пышных вывесок, но было много тесно припаркованных дорогих машин. Половину их составляли собратья нашего Гелендвагена – крутобокие джипы, а половину – плоские, словно раздавленные насекомые, спортивные болиды. Могло показаться, что местные жители сплошь были любители сафари или отчаянные лихачи, но я знал, что это не так. Машины стояли вдоль стен, словно лаковая обувь в прихожей, и мне захотелось их пожалеть.

– Как неудобно жить в центре, – заметила Тамара. – Негде даже припарковаться.

– Угу, – откликнулся Дмитрий Павлович.

Мне, однако, показалось, что они неискренни друг с другом.

А Дима-маленький в это время шептал что-то нецензурное – сильно вращая рулем и зыря в оба зеркала, он мучительно осаживал. Наконец мы втиснулись задом в какой-то малый промежуток у тротуара.

– Вылезай, приехали! – объявил Дмитрий Павлович.

Разумеется, команда эта относилась к нам с Тамарой. Дима-маленький отвалился на сиденье и сунул в рот сигарету. Выбравшись из Гелендвагена, я осмотрелся. Ни подъездов с ковровыми дорожками, ни каких-либо вообще подъездов поблизости не наблюдалось.

– Нам во двор, – сообщил Дмитрий Павлович.

Тамара взяла его под руку, и мы двинулись дальше пешком, полируя глянцевитые бока бесконечных авто. Впрочем, скоро наш предводитель действительно свернул в какую-то арку, пахнувшую кошками. Тамара, встревожась, прижалась к Дмитрию Павловичу, я же, напротив, почувствовал, что мы на правильном пути, хотя культурной общественности пока видно не было. И я не ошибся: очутившись во дворе, мы обнаружили надпись, сделанную от руки прямо на домово́й стене: «Сырники здесь», – гласила она. Кривоватая стрелка указывала на лестницу, шедшую в подвал. В конце лестницы была железная дверь с такой же рукотворной надписью: «Вход». Дверь подалась без скрипа.

Внутри подвального заведения все оказалось, как я ожидал: стены беленого кирпича, трубы, вентиля, манометры. На манометрах, правда, ноль. Андерграунд, но не совсем – трубы были аккуратно выкрашены, и столики в зале выглядели достаточно опрятно. Публика сидела довольно густо – неброско одетая, но раскованная, она пила и закусывала чем-то из тарелочек. Тарелочки были маленькие, не такие, как на бесплатных фуршетах. Приглядевшись, я обнаружил в зале несколько знакомых лиц; кто-то даже сделал мне ручкой. Тамара не солгала – место было культурное.

Выяснив у администратора, что Сыров «еще не подъехал», мы сели за резервный столик и взяли меню.

– Посмотрим, чем питается наша интеллигенция, – пошутил Дмитрий Павлович.

Я тоже раскрыл карту. Меню оказалось чрезвычайно разнообразное: кроме сырников во всех видах, здесь были блюда со всего света – от украинского борща до карбонадо по-аргентински. Россию представлял настоящий пятидесятиградусный самогон, названный для конспирации «напитком фирменным». Впрочем, не успели мы сделать заказ, как в зале объявился хозяин заведения.

– Вот и Сыров, – сообщил Дмитрий Павлович, но мог бы не сообщать, потому что я и сам его вычислил. Курчавобородый плотный мужчина обходил столик за столиком, чтобы

перемолвиться словечком с гостями. Кого-то он хлопал дружески по плечу, а избранных подвергал объятиям. Наконец он добрался до нас и сразу же облапил Дмитрия Павловича.

– Здравствуй, дорогой... здравствуй... – бормотал Дмитрий Павлович между поцелуями. – А вот познакомься...

Сыров обернулся ко мне:

– А-а-а! Читал, читал...

И не успел я испугаться, как он напал на меня. Хорошо, что я не ношу на лице растительности, иначе мы с Сыровым сцепились бы бородами и остались навек прижатыми щека к щеке.

Тем не менее я был польщен и рад почувствовать на себе ревнивые взгляды культурной общности.

Помятые, мы вернулись на свои места, и Сыров принял на себя командование застольем. Заказывал он с моря и с Дона, так что ужин наш скоро стал похож на дегустацию. Чего только мы не отведали по его настоянию – сейчас не упомню. Лишь один самогон, которым мы запивали все подряд, упорядочивал этот гастрономический хаос. Разговор, сопровождавший трапезу, я тоже запомнил – кажется, мы говорили о футболе. Но беседу эту, о чем бы она ни была, мы не закончили. Я не думаю, что какую-нибудь беседу с Сыровым можно было закончить, потому что к нему беспрестанно подходили для объятий деятели культуры. Одна только коротко стриженная дама поздоровалась попросту, без лобзаний. Более того, она взяла свободный стул и села с Сыровым рядом.

– Знакомьтесь, – сказал он, покосившись на даму. – Ирка. Мой исполнительный директор и по совместительству жена.

Ирка улыбнулась нам одними губами. Она выложила на стол устройство, среднее по размеру между мобильником и ноутбуком, и деловито поинтересовалась:

– Итак, что наши переговоры?

– Переговоры? – мы переглянулись.

– Мы тут пока что кушаем, – ласково пояснил Сыров.

– Вижу, – сказала Ирка. – Но пора бы уже и к делу.

– К делу так к делу! – Сыров утер губы салфеткой.

Взгляд его ожил и загорелся.

– Дружище! – он обратился ко мне. – Посмотрите-ка в зал... Кого вы здесь видите?

Я осмотрелся:

– Ну... вон там политолог сидит еще с кем-то. Я вчера его по телеку видел.

– А там, – он ткнул вилкой, – кинорежиссер. А за тем столиком – видите, обнимаются? – два тоже писателя, и оба поэты. И так дальше, в кого ни плюнь: культурные люди культурно сидят... А почему, как вы думаете?

– Что – почему?

– Почему они сидят в «Сырниках», а не где-нибудь?

Я пожал плечами:

– Может, вы для них скидку делаете? Дисконт или как это называется?

Сыров кивнул:

– Дисконт – это само собой. И подвал, и трубы – все, конечно, влияет. Но главное – что? Главное – мы тут считаем, что культурный процесс неотделим от пищеварительного. Вот в чем наша фишка.

– Может быть, «фишка» в пропорции... – осторожно заметил я.

– Фишка в неотделимости! – отрезал Сыров. – Вы не представляете себе, сколько творческих судеб состоялось в этом подвале... Режиссер пьет с продюсером, поэты друг с другом... Люди искусства идут сюда и находят друг друга. А вы... я хочу, чтобы вы нашли в «Сырниках» писательское вдохновение.

– Я пожалуй, – пробормотал я, – но мне не очень понятно...

– Экий ты брат недогадливый! – подал вдруг голос Дмитрий Павлович. – Напиши покрасивее про все про это... про то, как тут судьбы складываются. Заведению лишний имидж, тебе, глупому, гонорар. Вот и будет пропорция.

– Да, напишите, – сказала Ирка. – У вас получится.

Четыре пары глаз смотрели на меня выжидательно. Отказываться теперь было бы с моей стороны просто свинством.

– Мухтар постарается! – пошутил я. – Выпьем за вдохновение.

Ирка занесла мой телефон в свое устройство, и мы выпили за успех предприятия. Сыров заявил, что по такому случаю угостит нас особым блюдом. Он выщелкнул пальцами официанта и пошептал ему что-то на ухо. Мы ждали минут пятнадцать, и блюдо наконец приплыло на руках самого шеф-повара. Это были тонкие ломтики смуглого мяса в обрамлении изысканных голубых цветов.

– Что это? – воскликнули мы хором.

Сыров сделал паузу, наслаждаясь эффектом:

– Копченая антилопа с орхидеями.

– Антилопа – это круто, – одобрил Дмитрий Павлович.

– Красота какая! – восхитилась Тамара.

– Угощайтесь, господа!

Наколов вилкой орхидею, Сыров отправил ее в рот. И, увидев на лице моем ужас, засмеялся:

– Не бойтесь, писатель, они маринованные!

Отведать орхидеи я так и не решился, но это не спасло меня от расстройства желудка. После ужина в «Сырниках» я провел беспокойную, бессонную ночь. Пищеварительный процесс во мне совершался бурно, и мыслительный был от него неотделим. Каждый очередной толчок в животе давал моим думам новое направление: я то ругал себя литературной проституткой, то прикидывал, как на сыровский гонорар поеду в Европу.

К утру мой кишечник унялся, и в голове понемногу улеглось. Я забылся в подобии сна, но, как оказалось, ненадолго. С постели меня подняла телефонная трель.

– Я не рано?

Звонила какая-то Ирина Кирилловна из «Сырников». Спросонья я не сразу понял, что это вчерашняя Ирка.

– Нам с вами надо составить договор. Ждем вас сегодня с одиннадцати до двенадцати. О'кей?

– О'кей, – отозвался я глухо. – Куда ехать?

Так началось для меня утро новой жизни. Что ж, назвался груздем – полезай в кузов.

Я напоследок посоветался с желудком, умылся, побрился, оросил себя одеколоном и отправился по указанному адресу в «Сырники ООО». Составлять договор.

Сколько раз это слово ласкало мне ухо? Ну... несколько раз. Едешь на метро в издательство, а колеса знай выстукивают: «договор, договор». Если вы не писали книжек, вам не понять, что означает для автора приглашение составить договор. А оно означает, что творенье его не отправится прямиком в ноосферу, но погостит еще здесь, у публики. Оно признано человечеством годным к употреблению, принято в печать, и, быть может, кто-то даже прочтет его. Хотя бы наборщики прочтут и будут друг другу показывать и прыскать в кулак.

Но в то утро, когда я от «Сырников» получил приглашение к договору, творенья у меня никакого не было. Казалось бы, куда лучше: не потрудились еще, а уже где-то ждет тебя бумага, в которой прописью стоит причитающаяся тебе сумма. Но почему-то в метро, по дороге в заветный офис, мне было не радостно. Вагоны бренчали и оглушительно скрежетали на ходу, а машинист то и дело давал во тьму тревожные гудки. Что там мерещилось машинисту, не знаю;

я же убеждал себя в том, что мне беспокоиться не о чем. Тем более что таблетки от живота я захватил с собой – на всякий случай.

В офисе меня встретила сама Ирка, теперь – Ирина Кирилловна. Она приветствовала меня скупой улыбкой и сразу же препроводила в совещательную комнату. Едва мы с ней расположились за длинным столом, как в комнате появилась девушка и поставила между нами вазу с конфетами.

– Чай желаете или кофе? – спросила она меня. Я пожелал кофе.

– Мне как обычно, – распорядилась Ирина Кирилловна. – И собери кого нужно.

Девушка обернулась мигом: чай, кофе и все «кто нужно» явились почти одновременно. Пока в моей чашке таял сахар, я успел познакомиться с дамой-дизайнером и дамой-маркетологом (стриженными под свою начальницу), юношей-культурологом, старичком-кулинаром и представителем дружественного «Сырникам» пиар-агентства – мужчиной средних лет с маникюром. Я заметил, что все они пришли на совещание с папочками, и усоевистился, что, кроме таблеток от живота, ничего с собой не принес.

– Поговорим о нашей книге, – предложила Ирина Кирилловна. – Какие у кого мысли?

Сотрудники живо развернули свои папочки; я же лишь побарабанил пальцами по столу. Мысли не заставили себя ждать: у дамы-дизайнера были готовы четыре варианта обложки; юноша-культуролог выдвинул знакомый тезис о том, что культура и питание неразделимы; дама-маркетолог потребовала, чтобы в произведении была отражена положительная динамика заполняемости человекомест. Мужчина из пиар-агентства посоветовал отразить в художественной форме, что в наши дни ходить в гости и пить друг у друга на кухне неактуально, так же как варить самогон, потому что самогон нынче подают в «Сырниках».

Не было мыслей только у дедка-кулинара да у меня. У него, очевидно, по старости, а у меня, скажу честно, с перепугу. Да и как было не напугаться – я понял, что работать придется в коллективе. Мне это было непривычно – в последний раз в коллективе с другими мальчишками я воровал в Васькове яблоки. Подытоживая мозговой штурм, Ирина Кирилловна сказала, обращаясь уже ко мне, что «Сырники ООО» не ждут от меня самовыражения и что «роман на полку» им не нужен, а нужен современный взгляд на культуру питания и питание культуры. На этом производственное совещание закончилось. Коллеги подобрали свои папочки и разошлись, прихватив каждый по конфетке. Я сидел в прострации.

Девушка, ранее подававшая кофе, принесла стопку бумаг.

– Ознакомьтесь с договором, – сказала мне Ирка.

Строчки запрыгали у меня в глазах. Я плохо соображал, но все же удивился, вчитавшись:

– Как это – вы тут называете меня «исполнителем». Я же не музыкант.

Она пожала плечами:

– Если есть заказчик, значит, есть и исполнитель. Договор у нас типовой, и я бы на вашем месте не стала придирается к словам.

Она была права – придирается не стоило. Свое место я почувствовать успел, но зато раздел «вознаграждение» компенсировал, похоже, все лингвистические неловкости.

Словом, из «Сырников ООО» я вышел уже не вольным художником, а нормальным трудоустроенным гражданином. Очутившись на улице, я огляделся кругом новыми глазами, промытыми, словно офисное стекло. Офисы, сплошные офисы – Москва трудовая обступала меня. Меня обтекали люди в галстуках с широкими узлами, и мне впервые в жизни хотелось заглянуть им в душу, спросить: «А какой, к примеру, у вас оклад? Вы какое получаете вознаграждение?» Хотелось с ними сблизиться, намекнуть, что теперь я им не чужой, что я один из них. Я мог предложить им пойти куда-нибудь (да хоть в «Сырники»!) выпить чего-нибудь актуального – для снятия стресса. Да – теперь я мог себе это позволить! Мог, потому что во внутреннем кармане моей куртки лежал, давил на сердце конверт с авансом. Я стоял в недоумении, не узнавая ни города, ни себя. «Как такое случилось?» – спрашивал я себя. Как случилось,

что меня – меня! – наняли по типовому договору, словно любого из этих, в галстуках? Мне хотелось спуститься в метро и оглохнуть, родным его грохотом обезболить душу. Хотелось сбежать с незаработанными деньгами, лечь на дно, исчезнуть совсем. «Ну, будет вам книга!» – мстительно бормотал я.

Вот в каких смятенных чувствах вывалился я тогда из «Сырников». Однако спустя два-три дня волнения мои улеглись. Разумеется, сага о желудочном культуртрегерстве у меня не получилась, да я не шибко и старался. Аванс я потратил, как и собирался, на поездку в Чехию (чудесная страна!). Но сбежать и лечь на дно мне не пришлось. «Сырники» какое-то время еще пытались достать меня через Дмитрия Павловича, а потом плюнули и списали, как испорченную антилопу.

Кран

В старые времена, как вы знаете, в Москве существовали так называемые «писательские» дома. Целые кварталы были писательских домов. Я не стану сейчас обсуждать этот феномен с политико-исторической точки зрения или с позиции белой зависти. Скажу лишь, что дома эти стоят и теперь и в них по-прежнему живет немало деятелей литературы. Речь, конечно, не о первопоселенцах-«совписах», облагодетельствованных когда-то партией и правительством, а ныне пребывающих в бозе или глубоком маразме. Я имею в виду их здравствующих потомков, которым любовь к литературе передалась по наследству. Эти потомки, как правило, не пишут ни стихов, ни прозы, но это даже хорошо, потому что второе их наследственное заболевание – дислексия. Что, конечно, не мешает им участвовать в живом литературном процессе. Они честно служат отечественной словесности в качестве критиков и журнальных обозревателей, всевозможных редакторов и литсекретарей, членов жюри литературных премий... да бог еще знает, в каких качествах. Это винтики, рычажки и шестеренки нашей большой и сложной литературной машины, стоящей под парами, хотя покамест и на запасном пути. А живут они в бывших писательских домах.

Но в мои намерения не входит злословить на цеховые темы. Просто мне непонятно, как они там, одни литераторы, столько лет выживают. Как еще не спалили свои филологические слободки, не затопили, не взорвали с помощью бытового газа. Я-то знаю, что срывать краны – любимое занятие интеллигенции. На эту тему – о кранах и интеллигенции – у меня даже есть анекдот.

Случился он не в каком-нибудь писательском гетто, а у нас в рабочем квартале, где литераторов раз-два и обчелся. «Раз-два» – это я и Саша Прут, который живет в 27-м «а» номере через два дома от меня. Саша (официально он Самуил Соломонович) работает эссеистом и литературным колумнистом в газете. Он сын другого, более известного Прута, основавшего что-то в советском литературоведении. Таким образом, Саша – настоящий филологический потомок, прихоть судьбы занесенный в рабочий микрорайон. Почему советская власть обнесла папу подобающей квартирой, я не знаю, да и не спрашиваю. Но догадываюсь, что это обстоятельство доставляет Саше тайное страдание.

Хотя назвать нас собратями по перу можно только с большой натяжкой, мы с Прутом дружим. Даже несмотря на разницу в происхождении. Просто потому, что на всю округу мы единственные литераторы и нам здесь больше не с кем посплетничать на интересующие нас темы. Саша женат и небездетен, так что, пока Тамара меня не бросила, мы дружили симметрично, семьями. Потом на стороне Прутов образовался численный перевес и, я бы сказал, перевес интереса. Они вообразили, особенно Сашина жена Соня, что у меня случилась трагедия и что теперь меня снедает одиночество. Я и вправду после развода зачастил к Прутам, но не ради их участливых попечений, а потому, что меня как холостяка привлекали домашние котлеты. Раза два в месяц мы пили, закусывали Сониными котлетами, сплетничали на литературные темы и снова пили, уже без закуски, под уютную капель из кухонного крана. Сознание того, что не мне предстояло мыть посуду, согревало душу.

Но от месяца к месяцу капель на кухне у Прутов постепенно убыстрялась. Потом перешла в непрерывное журчанье, превратившись в раздражающий фактор. Мне даже показалось, что эта струйка стала подтачивать прутовскую семейную идиллию. Соня по временам впадала в риторику: «Неужели, – восклицала она, – неужели и в других домах творится то же самое?!»

Мы с Сашей старались уйти в разговоре от водопроводной темы, однако кран уже сам, без Сони, напоминал о себе все сильнее.

Дни и ночи на прутовской кухне звенела пресловутая струйка; сколько воды унесла она – не сосчитать. Но среди бесчисленных капель, составлявших ее, нашлась-таки одна, хоть и

далеко не последняя, которая переполнила чашу Сашиного терпения. Неразличимая в стае своих подружек, она канула в окруженном ржавым ореолом сливном отверстии раковины. Случилось это ночью, когда в доме все спали. Ни Соня, ни дети не почувствовали роковой капли – только Саша. Вздрогнув, он проснулся и прислушался к доносившемуся из кухни привычному журчанию. Глядя в темноту, он вдруг исполнился неизъяснимой ненависти к старому крану, чье недержание, в сущности, имело объективную возрастную причину. «С этим надо кончать! – Саша скрипнул зубами. – Завтра или никогда!»

И вот наступило завтра. Прут снова проснулся – теперь уже обычным порядком. Утром звон кухонного ручейка был не так слышен – сливался с другими шумами пробудившейся жизни. Но Саша, как ни странно, не заспал ночного происшествия. Удивляясь собственной решимости, он полез в кладовку, где из чистой сентиментальности хранил разные вещи, пережившие свой век. Там были пишущая машинка «Олимпия», фотоувеличитель «Нева», четырехдорожечный магнитофон «Яуза» и много чего прочего. Вот среди прочего Саша отыскал желтый, свиной кожи портфель с ручным инструментом, доставшимся ему от папы-литературоведа, а тому от дедушки, киевского сапожника. Вывалив содержимое портфеля на пол, краноборец выбрал себе оружие по руке, то есть, конечно же, самый большой, самый грозный на вид газовый ключ. С таким инструментом даже хилый гуманитарий способен натворить беды.

И пробил час. Прут удалил из кухни посторонних и, растревая в себе воинственный дух, пошел на приступ. Он наложил на кран свое могучее орудие и приналег. Безумец даже не удосужился перекрыть отсечной вентиль, хотя, как потом выяснилось, тот все равно не действовал. Бедный старый кран! В толстой шубе солевых отложений он смотрелся неизбежным сталагмитом, но оказался ломок, как трухлявый сук. Саша приналег, и – хруп! – кран остался в губках ключа, а из раны в смесителе под давлением в четыре атмосферы ударил горячий гейзер. Тут только и стало понятно, какую разрушительную силу сдерживал латунный старик из последних сил! Объятый паром, Прут бросился из кухни в уборную перекрывать отсечной – но не тут-то было! Отсечной кран был ровесник кухонного, он давным-давно закозлился и служил не более чем украшением трубы – лишь Соня иногда вешала на него для просушки половую тряпку. Отсечной кран Саша сумел только сильно погнуть и исцарапать. И это все, что он сделал, хотя сделал он все, что смог.

Я не стану живописать в подробностях последующие события и что сказали Пруту настоящие сантехники. Все равно это не получится у меня красочнее, чем у Сони. Главное, что благодаря этим упражнениям с газовым ключом Саша смог лучше познакомиться с жильцами шестнадцати низлежащих квартир. Раньше они более или менее вежливо здоровались с ним, встречаясь в лифте, однако после трагедии Прут узнал соседей с другой стороны. Но не буду входить и в эти подробности.

Несмотря на то что дело о потопе, организованном Сашей, в конце концов удалось уладить на возмездной основе, происшествие это потянуло за собой цепочку следствий. Первое, самое малозначительное, было то, что Самуил Прут написал роман. В нем повествовалось о нелегкой судьбе героя, тонко чувствующего образованного человека, вынужденного существовать в агрессивном-бездуховном окружении. Написанный в сердцах за три месяца, роман не был оценен современниками. Это неудивительно, потому что Прут и тут взялся не за свое дело, но странно, что он так по этому поводу расстроился. Не он первый, не он последний; мало ли в Москве незадачливых романистов. Штука, однако, в том, что, хотя романистов много, не все они держат литературные колонки. За фиаско с романом Прут решил отыгаться на газетном поле. Его обозрения сделались остро критичными; горячая желчь закапала с его пера, заструилась, хлынула ядовитым потоком, отравляя наши вялотекущие литературные воды. Кому только от Прута не досталось! Говорили даже, что после его критики у одного пожилого автора сделался инсульт, отнялась правая сторона, и что теперь, дескать, старик вынужден учиться писать левой рукой.

Добрался Саша и до моего скромного творчества. Правда, insult со мной не случился, но, когда Прут нашел у меня необоснованный социальный оптимизм, примирение с действительностью и что-то там еще, я перестал ходить к нему на котлеты.

Некоторое время мы не виделись и лишь случайно встретились на фуршете после какого-то литературного мероприятия. Он пил в одиночестве и был байронически мрачен. Я не сделал по примеру многих вид, что его не заметил, а, совершив над собой некоторое усилие, подошел к нему с рюмкой.

– Здравствуй, Саша! – сказал я. – Отчего невесел?

– А чему радоваться? – отвечал он. – Стою и наблюдаю ничтожество. Я чужой на этой ярмарке тщеславия.

– Очень уж ты стал строг к человечеству, – возразил я. – Они твои же собратья. Не бог весть каких талантов, но ведь душевные люди. Или правду говорят, что у тебя язва открылась?

Саша болезненно усмехнулся:

– Язва здесь ни при чем. А вот ты залей этим людям квартиру, тогда и узнаешь, какие они душевные.

– Может быть, ты и прав, – заметил я, – но ведешь себя так, словно залили тебя.

Не помню, что он мне ответил. Все равно разговор наш не закончился ничем, как и любые разговоры на фуршетах. А потом прекратились фуршеты, потому что наступило лето и литературная жизнь замерла. Дело в том, что летом у пишущих спячка – в этом их отличие от остального животного мира. Спячка, разумеется, творческая. В течение трех месяцев литераторы пытаются избавиться от жировых отложений, скопившихся в ягодичах от сидячей работы, подлечить геморрой и нервы. А осенью они, освеженные, снова собираются в известных местах и узнают друг друга. словно школьные одноклассники после каникул – с той разницей, что литераторы за лето не подрастают.

И только одному подвиду пишущих летом приходится тяжело – литературным колумнистам. Газета с обзором должна выходить, а обозревать приходится пустоту. Колумнисты сосут из пальца и пишут такую чушь, которой потом стыдятся весь год. И никто никому не зовет выступить и выпить. словно шатуны-медведи, литобозреватели бродят летом, как неприкаянные. В это время у них обостряются душевные заболевания.

Я говорю это с намеком на Сашу Прута, которого лето, по-видимому, окончательно добило. В конце августа в магазине эконома я повстречался с женой его Соней и нашел ее в расстроенных чувствах. На вопрос мой, каковы их с Сашей дела, она ответила, что дела плохи и что Саша, как ей кажется, пошел вразнос.

– Запил, что ли? – не понял я.

– Нет, я неточно выразилась, – покачала головой Соня. – У Саши поехала крыша. Он соскочил с катушек, – и в глазах ее блеснули слезы. – Мне страшно – у него не все дома!

Тому, что случилось с Прутом, есть множество народных определений – народ умеет ставить диагнозы. Но Соня не была женщиной из народа и поэтому в определениях запуталась. Все были дома, и она, и дети, и их всех изводил страдающий Прут. Он взял привычку лежать по целым дням, отвернувшись лицом к стенке, а вечером вдруг возбуждался, вскакивал и уходил из дома, не причесавшись, иногда прямо в тапочках. Он шатался по ночному микрорайону, пугая одиноких прохожих и влюбленные парочки, и даже стайки безбашенных подростков расступались перед ним...

Слушая Соню, я задавал себе вопрос – в чем же все-таки была причина Сашиного душевного кризиса? – и не находил ответа. Вся моя мудрость сводилась к единственному:

– Бывает...

Она продолжала бы и дальше изливать мне свои печали, но больно уж неудобное было для этого место. Соня, как я уже сказал, не была женщиной из народа, так что судачить, стоя посреди универсама, ей казалось неловко.

– Извини, что не зову в гости, – сказала она, прощаясь. – Котлет мы теперь не делаем, потому что мясо, как ты понимаешь, повернуть стало некому.

И Соня пошла со своими продуктами и со своими недосказанными горестями. Обо мне она, разумеется, в ту же минуту забыла.

Мы не виделись с ней и никак не общались вплоть до вчерашнего дня. А вчера Соня позвонила мне в ужасном волнении. Из ее сбивчивого монолога я понял, что Саша три дня как пропал. Она уже обегала наш и прилегающие кварталы, обзвонила все морги, психушки и подняла на ноги милицию. А теперь вот звонит мне, сама не знает зачем. Насчет милиции, думаю, она обольщалась, но, слушая ее, я заливался краской стыда.

– Прости меня, Соня, – пробормотал я. – Я не думал, что он ушел не сказавшись. Ты успокой милицию, а я тебе его непременно вскорости верну.

Сидевший напротив меня Саша сделал мне страшные глаза...

– Так он у тебя?! – вскрикнула Соня и разразилась плачем.

Я еще долго уговаривал ее не бежать за мужем немедленно, а когда уговорил и повесил трубку, то взглянул на Сашу сурово.

– Рад же ты, Прут, – сказал я. – Как ты мог меня так подставить?

Но это было все равно что спрашивать у Филадельфии, зачем он съел мою перчатку. Не дождав-шись ответа, я только вздохнул:

– Ладно. В последний раз туда ходим – и топай домой.

«Туда» означало на Москву-реку. Дело в том, что за те дни, что Саша жил у меня, мы несколько раз с ним и Филом ходили смотреть, как работает портовый кран. Мы сидели на берегу и пили пиво, а кран клевал и по шепотке переключивал песок из баржи в кучу. Куча была огромная; по ней с риском свалиться ползал маленький бульдозер, а в бульдозере сидел крошечный отважный человечек. Но иногда вдруг кран ронял ковш в баржу и замирал, словно бы задумавшись. И тотчас, как по команде, смолкал на горе бульдозер. Машинисты выбирались из своих кабин и сходились, чтобы перекусить и выпить. Они обедали, сидя в песках, как какие-нибудь бедуины, но бедуины не пьют спиртного, а машинисты пили и говорили по-нашему, но только не о литературе.

Перфоратор

Как-то раз меня пригласили в одну развитую страну на писательский конгресс. Что это такое, писательский конгресс, думаю, объяснять не нужно. Скучнее этого мероприятия бывали только старосоветские профсоюзные конференции. Но я поехал – поехал из принципа, чтобы забить баки некоторым своим коллегам, потому что меня пригласили, а их – нет. Устроители поселили нас в «Хилтоне» – это такой пятизвездочный отель. В первое же утро конгрессмены, словав пятизвездочный завтрак, отправились по своим писательским делам. Те из них, кто хорошо понимал по-английски, пошли с папочками на чтения и слушания, а те, кто плохо (в основном писатели из неразвитых стран), подались на шопинг. И только я, поскольку не владел ни английским языком, ни искусством шопинга, после завтрака вернулся к себе в номер. Я наглухо задраил окно, чтобы их не по-нашему частые городские сирены меня не беспокоили, и снова забрался в кровать с намерением часок-другой соснуть. Искусством соснуть я владею хорошо. Но не тут-то было. Едва я задремал, как вдруг услышал отвратительный свербящий звук. Он доносился явно не с улицы, а откуда-то изнутри здания. Впрочем, откуда бы он ни исходил, фокусировался он непосредственно у меня в мозгу. Это зудение, переходящее в дробный стук и снова взлетающее до визга, производила вибродрель, перфоратор – самое гнусное изобретение человечества со времен пыточного колеса. Но предназначено это устройство якобы для разных починок, в том числе и в отелях.

В досаде склоняя «Хилтон» на все его пять звезд, я собирался уже встать и пойти досыпать на какое-нибудь заседание, как вдруг ко мне в дверь постучали. Оказалось, что это горничная пришла наводить в моем номере порядок. Она вошла, сияя фирменной хилтоновской улыбкой, но, застав меня в постели, была так удивлена, что улыбка на ней полиняла. По ее заграничным понятиям пребывать в постели в столь поздний час не подобало.

Этот случай показывает, насколько неприспособлен наш мир для дневного сна. Здесь, в Москве, ведь все то же самое: любые починки и ремонты везде, кроме метро, производятся белым днем. В полдень только метрошники да мы с Филом спим под городской шумок. Разница лишь в том, что подземные труженики, натаскавшись шпал, спят так крепко, что их пушкой не разбудишь, а мой писательский сон тонок.

...Тонок мой сон, но привычные шумы не тревожат его. Крякнет ли «скорая», захавшая во двор, вскричит ли в доме дурная сантехника, муха ли пролетит – мне все нипочем. Но только чу... что это?...

– ...rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! – слышу я. – Вжжжик!..

И грезится мне, будто я опять в «Хилтоне» – прогуливаю в кровати писательский конгресс. И как тогда, нехорошими русскими словами, я клянусь иностранные порядки...

С этими словами на устах я и просыпаюсь. На часах моих десять тридцать самого что ни на есть московского времени. Кто-то в нашем доме затеял ремонт.

Кто-то в отдельно взятой квартире. А много лет тому назад, когда дом был юн и жилыцы его молоды, благоустройство совершалось в нем повсеместно. Молотки стучали на всех этажах; люди входили в подъезды с вязанками добытых где-то обоев. Обои были плохонькие, но лица людей светились радостью. Тогда еще не существовало перфораторов, но счастье было возможно. Каждый купленный по благу рулон самоклеянки, каждая ухваченная банка финской краски казались нам подарком судьбы. Мы с Тamarой тогда тоже сделали ремонт – первый и единственный в этой квартире. Я клеил обои, а она придерживала подо мной стремянку. Давно это было.

Перфоратор смолкает ровно настолько, чтобы дать мне надежду на избавление... и снова взывает. Судя по его повадкам, направляется он нетвердой рукой дилетанта – он то визжит на предельных оборотах, то стрекочет, как издыхающая муха. Гнусная большая муха, которую

нельзя прибить. В паузах между сверлением до меня доносится стук молотка. Я слышу, как неведомый «умелец» промахивается мимо неведомой мне цели, и от всей души желаю ему угодить себе по пальцу.

Фил бродит по комнатам с опущенным хвостом. Я, вместо того чтобы работать, раскладываю на компьютерном экране пасьянс. Неужели другим моим соседям наплевать на это безобразие?... А ведь наплевать. В квартире справа от меня днем остаются только мамочка с младенцем. Сейчас он берет у нее грудь, а она смотрит по телеку сериал, и обоим им хоть земля разверзнись. Слева обитает ветеран, глухой как пень, – чистит, поди, свои медали и в ус не дует.

Самое досадное, что в это время суток на проклятый перфоратор нет никакой управы. Я не юрист, но знаю. Ведь если уж в «Хилтоне» такое позволяется...

...RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!..

Но если законной управы нет, может быть, найдется незаконная? Консьерж Насир рассказывал мне такой случай: один жилец нашего подъезда побил другому жильцу морду. Вроде бы тот ему тоже чем-то досаждал – шумом или просто своим видом. Правда, потом этого, побившего, посадили, но совсем по другому поводу. Что, если и мне попробовать? Пойти и заявить этому энтузиасту: «Если вы... то есть ты не перестанешь трещать своей машинкой, я ее... я тебе...» В общем, пригрозить, что засуну ему его чертов перфоратор сам знает куда. Он, конечно, возмутится, нагрубит мне в ответ, и тут уж я ему с правой – раз! с левой – два!.. Здорово. Если даже не сумею его побить, то настроение ему наверняка испорчу. Правда, если я его не побью, то он побьет меня и испортит мне физиономию. Эта цена слишком большая. А нельзя ли испортить ему настроение как-нибудь без драки? Например, одними словами? Слово ведь тоже мощное оружие. По некотором размышлении я нахожу, что словесный вариант подходит мне больше – он единственный достойный цивилизованного человека.

...RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!..

Терпение мое лопнуло – я надеваю брюки. Перед выходом из квартиры приосаниваюсь и смотрю на себя в зеркало – вид у меня такой грозный, что самому становится не по себе.

Я отправляюсь в неприятельский стан – точнее, на его поиски. Рев перфоратора наполняет подъезд снизу доверху – органный, чудовищная музыка сфер... Наугад я поднимаюсь этажом выше, и тут меня ждет удача – от мусоропровода через всю лестничную площадку тянется цепочка меловых следов. Где мел – там ремонт; где ремонт – там надо искать противника. Прикидываю размер вражеского ботинка – не крупнее моего. Иду по следу.

Передо мною дверь. За дверью гремит перфоратор, не дает сосредоточиться. Я повторяю про себя заготовленную вербальную ноту и, собравшись с духом, жму на звонок. Перфоратор смолкает. В наступившей тишине мое сердце отсчитывает удары. Секунда за секундой, время тянется в ожидании... Но тут перфоратор опять взывает. Мне не открыли. Я снова звоню, и снова обрывается вопль перфоратора. К двери по-прежнему никто не подходит. Это уже напоминает дурную игру, но я, простите, сегодня играть не в настроении. Налегаю на кнопку звонка с твердым намерением держать ее «до победного»...

Ну наконец-то! Лязгает задвижка, и дверь, отодвигая меня, отворяется.

– Ах, извините! А я-то думаю – звонят или мне послышалось...

Передо мной – очкастый длинноволосый молодой человек в трусах и майке. Майка с логотипом и телефонным номером какой-то фирмы – такие раздают на корпоративных вечеринках, а трусы обыкновенные, из магазина. Очки юноши запорошены цементной пылью, и ею же вымазаны его голые колени.

– Извините, что я в таком виде, – улыбается он. – У меня тут, как видите, ремонт.

– И вижу, молодой человек, и очень хорошо слышу.

Я хотел, чтобы голос мой прозвучал сурово-внушительно, но получилось просто сварливо. И сейчас же на меня, как из мешка, сыплются извинения – ах, он не знал, он не думал, он специально взял отгул, чтобы днем, чтобы никому не мешать... Дослушиваю уже спиной.

Минута, не больше, нужна, чтобы совершить обратный марш, закрыть за собой дверь собственной квартиры и перевести дух. Войско вернулось из похода. Фил вопросительно смотрит – с победой ли?... А я и сам не пойму.

Проходит час после моего возвращения; в доме – тишина. Но дорого эта тишина мне досталась. Как говорится в известном стихотворении – «конь и труп дракона рядом на песке». Перфоратор повержен – казалось бы, твори теперь без помех. Взойди на корабль с женским именем «Проза», подними якоря, вздуй вымысла упругие паруса, и вперед – в родное романное море. Плыви себе, оставляя за кормой гаснущие борозды строчек. Но увы! В голове моей после битвы тишь да штиль, и висят бессильно паруса вымысла. Персонажи, дружная моя команда, спрятались от меня в трюмы и нишкнут.

Я свернул на экране пасьянс – чтобы не соблазнял, но вместо него на меня теперь смотрит очкастая физиономия. Что там за пыльными очками – не укоризна ли? Скажите пожалуйста, он специально отгул брал! А у писателя отгулов не бывает – только сплошные простои по разным глупым причинам.

Интересно, что он там сейчас делает, чудик голоногий? Тоже, наверное, сидит, вздыхает о погубленном дне... Я снова открываю сохраненный пасьянс... и снова его сворачиваю. Ситуация пахнет абсурдом.

Фил недоумевающе смотрит, как я влезаю в штаны. Да, дружок, я опять иду наверх...

На этот раз юноша открывает мгновенно, словно сидел под дверью. Очки его блестят вызовом, а за ними – испуг.

– Если что, то это не я, – рапортует он. – Я даже не включал дрель.

– И правильно делали, – отвечаю я без улыбки. – Вы абсолютно не умеете ею пользоваться.

Между прочим, я говорю так, потому что имею право. Сам я чрезвычайно ловок в обращении с ручным инструментом – у меня природой поставленная рука. Иногда я берусь за дрель или молоток, только чтобы доказать себе и окружающим, что я все-таки человек не без способностей. Что касается очкастого соседа, то ему я, конечно, ничего доказывать не собираюсь. Просто я чувствую себя перед ним... ну, в общем, немного виноватым.

Юноша не сразу понимает, что я предлагаю ему помощь, а когда понимает, пытается с благодарностью отказаться. В дальнейшей непродолжительной борьбе великодушный я побеждаю, взламываю вежливую оборону очкарика и проникаю в его квартиру. Спустя некоторое время мы с ним уже вместе ползаем по полу, присверливая и устанавливая плинтусы. То есть я присверливаю и устанавливаю, а Вася (так его зовут) ползает рядом из солидарности и мне мешает. Он думает, что перенимает у меня мастерство. Наивный – не имея способностей, он просто без толку сотрет себе коленки. Впрочем, мастер-класс, он для того лишь и нужен, чтобы поднимать самооценку маэстро. К тому же это такое удовольствие – работать перфоратором! Как легко, с какой веселой жадностью ест он бетон, – просто хочется сверлить и сверлить. Надо признать, что по разные стороны стены перфоратор вызывает абсолютно разные ощущения.

Пока так ползаем (а длится это не один час), мы с Васей общаемся и кое-что узнаем друг о друге. Например, Вася по профессии дизайнер, а ремонт в квартире затеял потому, что собирается жениться. Только он никак не может выбрать окончательный вариант интерьера. Ремонт идет туго, оттого что Васю терзают сомнения.

– По какому поводу? – иронизирую я. – Интерьера или женитьбы?

Он пожимает плечами.

Что ж, в любом случае я его понимаю. Меня тоже часто мучают сомнения, поэтому так медленно подвигается моя проза.

– Зато с ремонтом у вас лихо получается, – ободряет меня Вася.

– Так не поменяться ли нам? Шутка, конечно. Вася смеется.

– Нет, правда, огромное вам спасибо за помощь, жаль, не читал ваши книги.

Он признается, что при чтении беллетристики засыпает на второй странице. Без сна Вася читает только по специальности, а так все компьютер, компьютер...

– Какое совпадение, – говорю я. – Я тоже засыпаю на второй странице, но только когда пишу.

За этими разговорами, но, главное, в плодотворных трудах незаметно проходит время. Наступает вечер; за окнами темнеет. От долгой ходьбы на четвереньках у меня уже ломит поясницу. Я устал, но эта усталость благодатная – опровергая доводы разума, она доказывает, что день прожит не зря. Кажется, сегодня мы порядком приблизили дату Васиной свадьбы. Однако хорошего понемножку.

– Не пора ли нам пошабашить? – говорю я. – Не ровен час, соседи придут скандалить.

– Ой, и правда! – спохватывается Вася. – Давайте заканчивать.

– Давайте.

Заканчиваем мы как положено: обмываем наши свершения у Васи на кухне. Пьем, конечно, текилу – любимый напиток дизайнеров. Вася показывает мне проекты будущего интерьера и фото своей невесты. Проекты разные, а невеста везде одна и та же. Мне все равно, что пить и на что любоваться. Сегодня я буду хорошо спать, хотя и не написал ни строчки. Впрочем, у меня это вещи не связанные – лишь бы никто не трещал перфоратором.

В постели с риелтором

Людмила возвращается со службы в семь тридцать. Могла бы в семь пятнадцать, но по пути домой она всегда заходит в универсам. Константин в это время только еще пересаживается с кольцевой на радиальную. Дома он бывает не раньше восьми часов. Они не знакомы.

Зато их дети прекрасно друг друга знают, так как выросли в одном дворе. Дочери Людмилы Маше и сыну Константина Сереже по шестнадцать лет. Они вместе тусуются, любят один сорт пива и имеют одинаковые мобильники. Обычные молодежные дела. Маша с Сережей состоят в половой связи, но семьи, конечно, не создадут, потому что скоро уже поменяют мобильники на разные и дорожки их разойдутся.

У Людмилы с Константином шансов вообще никаких – даже на то, чтобы встретиться. А если бы и встретились – то что бы это дало? Столкнулись бы они, например, утром в лифте. Константин пользуется одеколоном «Иссей Мияки», а Людмила духами «Труссарди». Поврозь это прекрасные запахи, но попробуйте смешать их в тесной кабинке! Он и она развернут носы в разные стороны, да так и будут ехать, мечтая поскорей добраться до первого этажа.

Между тем, говоря теоретически, Людмила и Константин вполне друг другу подходят. Не потому лишь, что он мужчина, а она женщина, но и чисто по-человечески – в плане предпочтений. А то, скажем, ходит к Людмиле любовник. Приличный мужчина, женатый, но убежденный мазохист. Когда они остаются одни, он надевает на себя упряжь и заставляет Людмилу ездить по квартире на себе верхом. Она ездит и думает: «Вот бы Маша меня сейчас увидела».

У Константина связи тоже не в его вкусе, хотя числом их намного больше. Он занимает должность шеф-редактора в журнальном издательстве и почерпает своих партнерш среди молодых сотрудниц. Издательство, что называется, «продвинутое», современное – редакционные девушки поголовно привержены сленгу и пирсингу. Сталкиваясь с тем и с другим в интимных отношениях, Константин всякий раз вздрагивает. Ласкать этих девушек можно только с большой осторожностью, и к тому же они вечно пачкают простыни кремом, имитирующим загар.

Грустно все это. Конечно, в пределах данной новеллы я, как автор, полномочен устраивать судьбы героев по своему усмотрению. Мне не трудно организовать для Людмилы с Константином встречу где-нибудь на собрании ТСЖ. Познакомить их, а потом и влюбить друг в друга. Машу с Сережей даже и знакомить не надо – стоит только внушить им более серьезное отношение к жизни. И как хорошо бы вышло – родители съехались бы в одной квартире, а другая таким образом осталась бы в распоряжении детей.

Да, я могу. Могу поженить кого захочу или кого захотите вы, читатель. Но я так не делаю, и не ждите, что это случится к концу рассказа. Потому что я в своем творчестве придерживаюсь реального направления, то есть беру пример с другого Автора, который пишет нас всех. Нынешние мои персонажи живут в Москве, а Он, как известно, предоставив москвичам много житейских удобств, довольно скупо наделяет их семейным счастьем.

Иногда я думаю – почему так получается? Миллионы мужчин и женщин, живущих рядом, можно сказать, на пяточке земли, никак не могут разобраться по парам. А если пары и образуются, то по чистой случайности. Пройти по жизни, взявшись за руки, мало кому удается. Я подозреваю, что виноваты здесь небеса – те самые, что отвечают за браки. Московские небеса похожи на детсадовскую воспитательницу, отчаявшуюся построить переукомплектованную группу. Или на спортивного тренера, который, имея чересчур длинную «скамейку», без конца экспериментирует с составом.

Но, может быть, небеса не так бестолковы, как кажется. Возможно, мы для них слишком маленькие объекты, а им важнее благополучие мегаполиса. Ведь что бы стало с Москвой, если

бы мы все вдруг обрели свои половинки, обженились и погрузились в частную жизнь? Город бы сделался вялым, сонным и утратил бы свой столичный статус. Хотите вы этого? Нет.

Что из того, что наша городская жизнь не способствует созданию длительных связей. Зато сколько связей у нас мгновенных, мимолетных и неосознанных! В метро, в магазинах, на улицах – везде, где нас много, а много нас повсюду, мы сплетаемся в поминутных бесчисленных коммуникациях. Контакты искрят – и мы без любви, без ненависти, безо всех этих провинциальных драм отнюдь не испытываем недостатка в адреналине. От связей-коммуникаций не рождаются дети, но в них рождается великая общность. Ими спаян московский космос, в котором каждый из нас – крошечное светило.

Мы движемся каждый по своей орбите, иногда сталкиваемся, реже – образуем парные системы. Но происходит это не по чьему-либо произволу, а согласно объективным законам городской механики. К тому же надо учесть, что не только тела наши движутся по заданным орбитам, но и помыслы. Людмила не суждена Константину не просто по причине несходства их трудовых графиков, но и потому, что он вообще вряд ли бы положил на нее глаз. Его профиль так уж сложилась жизнь – «продвинутые» девушки со сленгом, тату и пирсингом. Он и в метро, когда от нечего почитать глазееет по сторонам, замечает почему-то одних таких девушек. И когда через задние окошки глядит в соседний вагон, то и там их находит. Он не приметит Людмилы, не оценит ее приятной естественной внешности, женственных округлых форм. Все истинно женское – мягкая грудь, щи по субботам и беседа без сленга, с долгими паузами в мыслях, – все это для Константина давно не существует. Оно сбежало от него лет двенадцать назад куда-то в Европу – туда, где из всего русского природная округлая женственность пользуется наибольшим спросом.

Впрочем, в метро и Людмила едва ли обратит внимание на Константина, даже если посадить их в вагоне друг против друга. Она в метро привыкла «отключаться» и думать только о своем. По дороге на работу все мысли ее – о Маше и домашних делах, а на обратном пути голова занята служебными вопросами. О любовнике Людмила старается лишний раз не вспоминать – ей надоели его прихоти и необходимость прятать от Маши дурацкие мазохистские принадлежности. И вообще она считает, что с ним пора заканчивать; если он в следующий раз явится опять без шампанского и цветов, Людмила так и сделает.

Конечно, мне их обоих немного жаль. Людмиле и Константину от роду две страницы, но я успел проникнуться к ним симпатией. Однако, говоря по совести, мне не очень хочется помогать им в делах сердечных. Сами-то они готовы ли встретить то, что называется большой любовью? Боюсь, что нет. Константин хочет девушку покруглей и без пирсинга, а у Людмилы предел мечтаний – любовник с цветами и без придури. Этакое счастье они отыщут и без меня.

Большой любви им не надо; да и никому она, в сущности, не нужна. Я сейчас говорю не о Маше с Сережей – у них свои дела, молодежные, а имею в виду нас – тех, кто давно состоялся как личность. Мы, конечно, полагаем, что вот эта состоявшаяся личность – мы самые и есть, и лелеем ее, и стараемся сохранять в неприкосновенности. А любовь – это снова-здорово. По собственному опыту или из книжек мы знаем, какую глубокую психическую и даже гормональную перестройку влечет любовь, и прячемся от нее. Это как инстинкт самосохранения – бесполезно доказывать нам, что наши состоявшиеся личности – не бог весть какая ценность.

И потом – с чего бы мне устраивать судьбы каких-то персонажей, когда я собственную не могу устроить? Вот не далее как прошлым летом случилось со мной происшествие – почти любовное; и что же? Как и следовало ожидать, дело ничем не кончилось; точнее сказать, кончилось ничем. Об этой истории не знают даже мои близкие, если таковыми считать Тамару с Дмитрием Павловичем. Я и сам порой думаю, что она мне присочинилась.

Первое, что мне трудно объяснить, это почему я в тот день сидел у себя в городской квартире, ведь на дворе-то стояло лето, и место мое было в Васькове, на даче. Второе – это, конечно, то, что я открыл дверь. Я, кажется, уже рассказывал, как устроен наш подъезд: соб-

ственно, так же, как во всех домах семнадцатой «Б» серии. Снаружи его, где-то под козырьком крыльца, встроена телекамера, а внутри сидит консьерж Насир и смотрит два телевизора. Первый телевизор к камере отношения не имеет, он нужен, чтобы Насиру не заснуть на дежурстве, а второй как раз монитор. Насир по нему видит, кто хочет войти в подъезд. А войти, скажу я вам, непросто, потому как имеется крепкая железная дверь с домофоном и электронным замком. Если жилец трезвый и у него есть одна свободная рука, то еще ничего – достал из кармана ключ-таблетку, приложил куда надо, и дверь запищит, приглашая войти. Если же руки заняты или ключ куда-то запропал – вот тогда в действие вступает Насир. У него есть под столом собственная кнопка. Он ее нажимает, дверь пищит, жилец входит и благодарит Насира. Но это если жилец. Чужого Насир ни за что не пустит – затем он здесь и посажен. Проникнуть в наш подъезд постороннему просто немыслимо, поэтому для меня полная загадка, откуда они, эти посторонние, в подъезде берутся. Ходят, что ни день, какие-то распространители рекламной чепухи, продавцы картошки, социологи с опросами и бог знает кто еще. Они таскаются с этажа на этаж и звонят во все двери подряд – ищут дурака, который бы им открыл. Только дураков среди нас мало; как правило, мы в таких случаях затаиваемся, делая вид, что нас нет дома. Лично я открываю, даже не открываю, а иду смотреть в дверной глазок, только если звонящий проявляет чрезвычайное упорство. Так что мне совершенно непонятно, почему я в тот раз после первого же звонка встрепенулся и поспешил к двери.

Я подошел к двери, заглянул в глазок и увидел девушку. Вы когда-нибудь глядели на девушку через дверной глазок? – что там можно рассмотреть, кроме носа? А у меня, представьте, сразу екнуло сердце. И опять-таки не знаю, почему оно екнуло – со мной такого не случалось очень давно. Девушка за дверью могла быть и рекламным агентом парфюмерной компании, и наводчицей – она могла быть кем угодно, кроме, разве что, продавца картошки. Однако я ей открыл. Вместо того чтобы опустить тихонько шторку глазка и на цыпочках вернуться в комнату, я открыл ей дверь, нимало не думая о последствиях. И я понял, что мое сердце екнуло не напрасно.

Девушка была прелестна, настолько прелестна, что не могла быть наводчицей – так я почему-то сразу решил. Отнесем это решение на счет моего непуганого романтизма, но она и впрямь была хороша: рыжеволосая, тоненькая, в цветастом легком платице. А на ножках у нее были такие трогательные розовые тапочки, похожие на детские чешки.

– Здравствуйте! – обрадовалась мне девушка. – Как хорошо, что я вас застала!

– Меня? – удивился я.

– Ну конечно. А то ваши телефоны почему-то не отвечают.

– Вы знаете мои телефоны? – удивился я еще сильнее.

– Само собой, знаю, – девушка повела плечиком. – Но, может быть, вы меня впустите?

Кем бы она ни была – мог ли я ее не впустить? Я пригласил девушку войти в переднюю, где от желания с ней познакомиться уже поскуливал Фил.

– Ах, какая собачка! – воскликнула она. – Ты девочка или мальчик?

Я дал им время, чтобы решить этот вопрос и объясниться во взаимных симпатиях. Однако мне тоже хотелось кое-что узнать.

– Простите, – наконец полюбопытствовал я, – но вы, девушка, кто?

– Ах да, – слегка смутившись, она протянула руку. – Меня зовут Марина.

– Очень приятно, – ответил я, не кривя душой, и тоже представился.

– Приятно... – эхом отозвалась Марина. – Но... странно, у меня тут записано другое имя.

Теперь только я заметил, что у нее с собой была канцелярская папочка – розовая, как ее тапки. Марина раскрыла эту папочку и достала из нее листочек:

– Вот, читайте сами: Козлов Владимир Анатольевич.

Через минуту мы уже оба весело смеялись. Произошло, как вы поняли, обыкновенное недоразумение. Марина оказалась никаким не продавцом, а сотрудником риелторского агент-

ства. Она должна была осмотреть квартиру какого-то Козлова на предмет продажи, но перепутала адрес и попала ко мне. Извиняясь, она опять подала мне – теперь для прощания – свою маленькую руку, но... я удержал ее в своей.

– Раз уж так вышло, – предложил я отважно, – то не могли бы вы осмотреть и мою кухню – на предмет выпить кофе?

Честно говоря, я не надеялся получить согласие. Но... я его получил – может быть, с помощью Филя. Марина почесала его за ухом и улыбнулась:

– Ну что же, не откажусь. Только вот руки помою.

И в эту минуту я понял, что судьба посылает мне вызов. Я ничего уже не хотел, кроме одного: уговорить, любым способом, но уговорить очаровательную риелторшу остаться со мной. Отбить ее у Козлова Владимира Анатольевича, соблазнив немедленно, сейчас, пока мы будем пить кофе. Времени было в обрез, но в голове моей созрел мгновенный отчаянный план. В сущности, я должен был сыграть с Мариной блиц, и я сыграл его и выиграл.

– А почему бы вам, Мариночка, в самом деле не посмотреть мою квартиру?

Она повела плечиком:

– Зачем? Вы же ее не продаете.

– А вот и не угадали. Очень даже продаю. Только еще не выбрал, через какое агентство.

– Неужели? – усмехнулась Марина.

– Честное слово!

Она пристально на меня посмотрела и, немного подумав, вздохнула:

– Ладно, показывайте. Все равно у Козлова никто не отвечает.

Ай да молодец! Я даже отвернулся, чтобы скрыть свое торжество. А еще говорят, что риелтора не проведешь! Впрочем, клетка за птичкой еще не захлопнулась...

Мы с Мариной допили кофе и пошли осматривать мое жилище. Квартира у меня двухкомнатная, типовая, какой и положено быть в типовом доме. Однако Марина внимательно все изучала, даже балкон, и все время записывала что-то на листочке. Я сообщил ей, что холост, в том смысле, что я тут единственный квартировладелец, – она зафиксировала и этот факт. Когда наконец осмотр был закончен, Марина убрала заполненный листочек в свою розовую папочку.

– Ну вот, – сказала она, опустив ресницы. – Теперь я, наверное, пойду...

Пойду! Только последний болван на моем месте отпустил бы ее. Я просто млел от ее близости...

– Ну нет, Мариночка, – возразил я нежно. – Так я вас не отпущу.

Ресницы ее взмахнули:

– Что вы хотите этим сказать?

– А то, что вы не все еще осмотрели. Дом и квартиру вы видели, но как же прилегающие окрестности? Здесь у нас рядом есть замечательный большой парк – по-моему, такое соседство должно прибавить моей недвижимости, как это у вас говорится...

– Капитализации?

– Вот именно.

Марина посмотрела на Филя, словно ища у него совета.

– Рядом, вы говорите? Это интересно.

Через пять минут мы втроем уже были внизу. Я отжал могучую дверь и выпустил своих спутников из подъезда – на воздух, на солнышко. На улице прохаживался Насир и покуривал, жмурясь от «зайчиков», которые своими глянцевыми боками пускала маленькая желтенькая машинка, въехавшая чуть что не на самое крыльцо.

– Ваша? – спросил я у Марины.

– Моя. А как вы угадали?

– Миленькая какая. Только почему не розовая?

Марина потупилась:

– Розовых в салоне не было.

Машинка была такая желтенькая и сияющая, что хотелось ее лизнуть, но Фил ограничился тем, что деликатно сделал ей на колесико.

Погода в тот день выдалась как на заказ – солнечная и теплая. Мы с Филом со своей стороны постарались обеспечить Марине самую приятную прогулку. В парке он бежал впереди нас с дозором, а я омахивал свою спутницу веточкой, чтобы ни мошка, ни комар не посмели сесть на ее нежные, чуть тронутые веснушками плечики. Раза два мне даже посчастливилось перенести ее на руках через небольшие лужицы.

А потом мы с высокого берега глядели на Москву-реку и Москву-город. Зеленоватая, свитая в петли река лежала меж бескрайних плантаций недвижимости и лишь по временам подергивалась мурашками, будто в легком ознобе. Ветерки, пощекотав реку, долетали потом до нас и ласкали Марине открытые части тела. Мы стояли на круче и всматривались в московские дали. Наметанным взглядом риелтора она находила новостройки и на большом расстоянии безошибочно отличала железобетон от монолит-кирпича. Я слушал Марину и любовался ею. Тоненькая, вся оранжевая на просвет, в эти минуты она казалась сестренкой предвечернего уже солнца.

День подходил к концу. Москву с ее новостройками, трубами и историческими кварталами постепенно обметывало белесоватой мутью. Тонким, словно чулок-паутинка, смогом вечер затягивал лицо города, сглаживая его прекрасные черты. Рыжий братец, солнце, ласково с нами прощался. Потихоньку оно прилегло на городские крыши, чтобы вскорости просочиться, пробраться через трубы в дома и рассыпаться светом тысяч окошек.

Нам с Мариной пришла пора возвращаться. Очень удачно мы погуляли – так, что она даже не замочила тапочек. Всю обратную дорогу девушка держала меня под руку, и я практически осязал, как растет моя личная капитализация. Фил благонаравно трусил рядом, ни разу никого не облаяв и не дернув поводка. Мы не заметили, как пришли к дому, и даже не сразу поняли, что давно уже стоим под козырьком моего подъезда. Марина очнулась первой.

– Наверное, я поехала... – прошептала она, оглянувшись на свою машинку.

Та безмятежно дремала, уткнувшись мордочкой в крыльцо.

– А как же твоя папочка? – возразил я. – Ведь она у меня осталась.

– Тогда... тогда давай поднимемся.

– За папочкой?

Марина вздохнула:

– За папочкой.

Я уверен, что сцену нашего непростания наблюдал Насир, потому что подъездная дверь приглашающе запищала раньше, чем я приложил к ней свой ключ-таблетку. Мы поднялись ко мне и нашли розовую папочку. Марина достала из нее «мой» листочек и сразу же занесла в него данные, полученные во время прогулки.

– Пока не забыла, – улыбнулась она застенчиво.

Что было потом? Потом Марина, вздохнув, согласилась со мной поужинать. Ужин был романтический, с бутылкой чилийского вина. Я пил, и она пила, так что вздыхай не вздыхай, а за руль Марине было уже нельзя. После ужина она пошла в ванную, а я в спальню – готовить постель для постельных сцен.

Что это такое, постельные сцены, читатель в большинстве своем осведомлен, поэтому ремарки я опущу, а воспроизведу только наши диалоги.

Сцена первая

Марина (*блаженно*): Какой славный мне попался клиент!

Я: Называй меня лучше партнером.

М.: Конечно же, мы партнеры. Квартира твоя уйдет – ты даже не сомневайся.

Я: Милая, давай о личном...

М.: Я о личном. Мне так легко с тобой... Ведь ты не представляешь, какая у нас взбалмошная клиентура: все нервные, подозрительные, не знают, чего хотят...

Я: Ну я-то знаю, чего хочу!

Сцена вторая

Я (*блаженно*): Какой славный мне попался агент!

М.: Скажи еще раз...

Я: Какой славный...

М.: Какие приятные слова... Слышал бы ты, что о нас, риелторах, говорят в народе.

Я: Они не знают вас с лучшей стороны.

М.: Представляешь, нас даже путают с застройщиками! Считают хапугами, жирующими на росте цен на недвижимость.

Я: У тебя нет ни сантиметра лишнего.

М.: Спасибо... Они думают, что могут все делать сами, без нашей помощи.

Я: Я сам не хочу – только с тобой. Иди ко мне...

Сцена третья

М. (*блаженно*): Устал?

Я: Немного. А ты?

М.: Это не усталость. Вот, бывает, придешь домой, выжатая как лимон, и думаешь: на кой мне все это случилось... Особенно «паровозы» выматывают.

Я: Какие, милая, «паровозы»?

М.: Сделки, связанные со множественным обменом. Одной квартиры на другую, другой на третью... Масса нюансов, которые надо увязать. Случись в одном звене нестыковка, и посыпалась вся схема.

Я: Какие же нервы вам надо иметь!

М.: Нервов нам иметь как раз не положено. Попробуй ты, имея человеческие нервы, оформить согласие от органов опеки и попечительства! Представляешь, иногда одни и те же процедуры в соседних округах осуществляются по разным правилам.

Я: Взятки, поди, приходится давать?

М.: А ты как думал? Живем-то в реальном мире.

Я: А я с тобой чувство реальности теряю.

М.: Я с тобой тоже...

Сцена четвертая

М. (*сонно шутит*): Все, больше мне не звони...

Я (*тоже*): До связи...

На этом занавес упал, и больше в ту ночь никаких сцен не происходило.

И была еще сцена расставания – утром следующего дня, сразу после завтрака. Мы с Филом спустились, провожая нашу гостью до машины. Прощаясь, Марина почесала пса за ухом, а мне, положив руки на плечи, долго смотрела в глаза. А потом взгляд ее нечаянно упал на часы, она спохватилась, юркнула в свое авто и захлопнулась дверцей. Желтенькая машинка ожила и зашелестела моторчиком. От нее пошел запах, но не бензинный, а словно бы парфюмерный или кондитерский. Мне стало даже грустно от сознания, что я больше никогда не увижу это симпатичное неодушевленное существо.

Спустя два часа мы с Филом уже драпали из Москвы на дачу. Там, в Васькове, я и просидел с выключенным мобильником до конца октября. Марина со временем, конечно, поняла,

что обманулась во мне, но я, видимо, попал все-таки в какую-то риелторскую базу данных, потому что мне до сих пор иногда звонят и приятными женскими голосами осведомляются, не желаю ли я продать квартиру.

Будка диспетчера

Мы часто уподобляем город живому организму. И это правильно, потому что у него есть артерии, нервы и органы. Город, как и все живое, сложно, непостижимо сложно устроен. Он дышит, питается, производит отходы – следовательно, он и вправду природное существо. Но раз так, то город не может, как утверждают некоторые, быть созданием человеческого гения, пускай даже совокупного. Во-первых, ничего природного человек создать не в состоянии, а во-вторых, никакого совокупного гения не бывает. Есть только разные учреждения и организации, которые не всегда знают, как сами-то функционируют.

Правда, говорят, жил в Москве один гений, не совокупный. Это был уникальный специалист по канализационным сетям, чародей и маг своего дела. Невероятным образом он чуял под землей сливные трубы, даже те, которые не указаны ни на каких схемах. Без консультации с ним в Москве не начинали рыть ни одного котлована. Но потом спец состарился, ушел на пенсию, и другого такого нет. Заметим, однако, что даже этот уникум понимал только в канализации, а ведь в городе есть еще множество систем и коммуникаций под-, и на-, и надземных; в эфире и то все частоты заняты.

Но если мы признаём, что город – это живой организм, то мы должны признать его тварное происхождение. Более того – нам придется уступить ему свой приоритет и признать, что не мы, человеки, а город является венцом творения. Потому что мы хотя и тоже организмы, но являемся лишь частичками города, а часть не может превосходить целое. Богоподобны не мы, а наш город. Он – вершитель наших судеб и хозяин наших воль. Без него мы погибнем или в лучшем случае одичаем. Без него мы не были бы теми, кто мы есть. Юрий Михайлович не стал бы мэром, Василий Степанович – водителем троллейбуса, а я – писателем. Вы, уважаемые читатели, не стали бы читателями, так как без города не существовало бы метро.

И то, что жена Василия Степановича, Раиса, работает железнодорожным диспетчером, тоже город устроил. В детстве Рая мечтала стать заведующей каруселями в парке культуры, потом еще кем-то, но только не диспетчером. Однако, как водится, город имел на нее свои виды, и в этих видах ему угодно было поселить Раю с папой и мамой поблизости от товарной станции. Сами ее родители железнодорожниками не были (они оба трудились на каком-то заводе) и рано умерли. Но незадолго до своей кончины мама успела дать дочери полезный совет.

– Иди, – сказала она, – Раечка, работать на станцию. Ведь как удобно – пять минут, и ты дома.

Если бы папа к тому времени уже не умер, то и он вряд ли посоветовал бы что-нибудь другое. Но и без маминых с папой советов все было, как я сказал, решено городом. Независимо от своих устремлений и мечтаний Раечка, сама того не сознавая, давно была готовая железнодорожница. Запахи креозота и угольного дымка от вагонных титанов были ей очень хорошо знакомы. Лязг буферов, шипенье стрелок и свистки маневровых не тревожили ее по ночам, как сельчанина не тревожит собачий брех, а рыбака шум моря. Рае внятен был смысл диспетчерского раскатистого зыка; она лишь не знала до поры, что зык этот ей предстоит наследовать.

И вот пришел срок назначенному свершиться. Мамин совет и описанную территориальную предрасположенность город, чтобы не случилось осечки, подкрепил еще дополнительными причинами. Он познакомил Раю с Васей, молодым водителем троллейбуса, прибывшим в Москву по лимиту, и в одном из густых своих парков обеспечил условия для скорого зачатия их будущего ребенка. И главное – обеспечил для этого будущего ребенка отсутствие мест во всех ближайших городских яслях. Места имелись в железнодорожных, ведомственных яслях, но, чтобы ребенку туда попасть, кто-то из родителей должен был по этому ведомству числиться. Вася уже числился по троллейбусному ведомству, а Рая, которой только что исполнился осмь-

надцатый год, не числилась пока нигде. При таком раскладе обстоятельств как, вы думаете, девушка поступила?

Вы угадали. Рая пошла в дистанцию, или как это там у них называется, проситься на работу. Девушка она была с виду крепкая, а про беременность свою Рая, конечно, благообразно умолчала. Не знаю, уж как она обманула медкомиссию, но ее приняли – приняли помощником сцепщика. Сама по себе эта специальность довольно интересная; работа живая, ответственная, но связанная с физическими нагрузками и угрозой простуды. Сцепщики – это люди, которые соединяют тормозные шланги и катаются на вагонных подножках; раньше у них были свистки, а теперь рации.

Но сцепщицей Рая побыла недолго – три дня. А на четвертый с ней случился обморок, из-за которого она чуть не попала под колеса тепловоза. Девушку отвели в санчасть, где ее тайна и открылась. Узнав, что кадры пропустили беременную, начальство шибко ругалось, но делать было нечего – уволить Раю не позволял КЗОТ. Ее перевели в ученики диспетчера, и она таким образом обрела место работы, назначенное ей судьбой, или место обрело назначенную ему Раю.

С тех пор прошло уже много лет, но Раиса Григорьевна по-прежнему на посту. Из высокой своей диспетчерской будки она уверенно руководит движением в пределах товарной станции и копошась на путях рабочими, похожими из-за одинаковых оранжевых жилетов на фанатиков какой-нибудь футбольной команды. Правда, теперь она чаще пользуется радиосвязью, а громкой только изредка; но если над станцией и окрестностями прокатится вдруг гулкий тревожный окрик, знайте – это голос Раисы Григорьевны. «Внимание, по шестому осаживает тепловоз!» – это она.

Раиса Григорьевна надежный, опытный железнодорожный кадр. За заслуги перед отраслью она была отмечена грамотами и нагрудным знаком, который вручал ей сам начальник дистанции – мужчина в чине генерала тяги. Раиса Григорьевна назубок знает свои должностные обязанности – в этом не может быть сомнений. И все-таки многого о железной дороге она не знает и не узнает никогда. Потому что нет на свете человека, который знал бы все о железной дороге. Раисе Григорьевне неизвестно устройство локомотива, а машинист, скажем, мало что смыслит в работе диспетчера. Генерал тяги вроде бы имеет сведения и о том, и об этом, но только самые общие. А я, к примеру, и вовсе полный профан в этих вопросах, несмотря даже на то, что являюсь пассажиром со стажем. Из окна электрички я вижу только невообразимую путаницу рельсов, проводов, толпы вагонов на запасных путях и стробоскопическое мелькание встречных составов. Если же моя электричка застопорит вдруг, вот как сейчас, в неполюженном месте, на какой-нибудь товарной станции, я буду лишь тупо разглядывать случайно подвернувшуюся диспетчерскую будку и теряться в непрофессиональных догадках: отчего мы стоим и что бы это значило?

Но что еще выучила Раиса Григорьевна, так это дорогу от диспетчерской до своего дома. В бетонном заборе, ограждающем зону отчуждения, есть в одном месте пролом. Так вот, если им пользоваться, то можно сокращать путь, и получается в точности как сказала мама: пять минут ходу. Дома, а чаще на лавочке у подъезда, Раису Григорьевну встречает Василий Степанович, пребывающий на пенсии по инвалидности. Тридцать лет он честно водил московский троллейбус и отдал городу свой долг лимитчика сполна. Но лет пять назад произошло несчастье: собственная машина ударила Василия Степановича током. Убить не убило, но медицина констатировала частичную парализацию правой стороны тела. ЧП обсудили в троллейбусном парке и обоим определили к списанию – машину в утиль, а Василия Степановича на пенсию. Теперь от Василия Степановича для города нет никакой пользы. Однако, владея левой стороной тела, он принимает посильное участие в делах семьи, в частности сидит с внуком.

Внука Раисе Григорьевне и Василию Степановичу родил их сын Кирилл – тот самый ребенок, помещенный сначала в железнодорожные ведомственные ясли, а потом и детсад. Внук

Алеша еще маленький мальчик и пока послушный, но вот с отцом его у Раисы Григорьевны проблемы. Дело в том, что Кирилл, по ее мнению, не нашел еще толком своего места в жизни. Ну не задалась у него биография. Несмотря на то что он, как и мать, рос возле станции и к тому же получил ведомственное дошкольное воспитание, Кирилл наотрез отказался от железнодорожной стези – без объяснения причин. На троллейбус он тоже сесть не пожелал, но это понятно – все-таки он урожденный москвич. А больше его никуда и не звали, разве что в милицию. Поскольку в целой Москве не нашлось для Кирилла интересных вакансий, он, урожденный, обиделся и вступил как бы с городом в спор. Попросту говоря, сделался маргиналом – занимался какими-то махинациями и даже, страшно сказать, был одно время чуть ли не драгдилером. Правда, это все в прошлом; теперь Кирилл женат и работает в каком-то театре, таскает задники. Но обида на город у него не прошла, хотя городу это, как вы понимаете, глубоко безразлично.

Чтобы Кирюша не вырос оболтусом, полагает Раиса Григорьевна, нужно было в детстве держать его построже. Но сама она дома никогда не повышала голоса, потому что диспетчеру надо беречь связки, а Василий Степанович строгим быть вообще не умел. Он был человек слабохарактерный: в Москве по-настоящему не прижился, грустил по оставленной Костроме и по Волге. От тоски он тайно выпивал с проводниками почтовых и багажных вагонов, а после чувствовал себя виноватым.

Но я не согласен с Раисой Григорьевной. По-моему, здесь дело не в строгости, а в том, что городу нужны и такие Кирюши. Нельзя, чтобы все были пристроены к делу; должен быть кто-то просто для потехи, кто-то, с чьей судьбой можно поиграть, – город ведь это любит.

У меня у самого в молодости был приятель маргинал. Звали его Феликс, мама его работала в типографии, а сам он учился со мной в институте. Точнее сказать, проучился полтора курса, а потом бросил. Правильно, кстати, сделал: инженера из него все равно бы не получилось. Про себя я это тоже понял, но гораздо позднее.

Бросив институт, Феликс решил, что будет зарабатывать большие деньги, – задатки к этому у него имелись. В те времена у нас много зарабатывали те, кто, поделившись с государством, мог трудиться непосредственно на свой карман: ювелиры, например, или сапожники. А у Феликса были от природы умные еврейские руки – в хорошем смысле этого слова. Беда только в том, что руки – это все, что было в нем умного. Он устраивался учеником в разные мастерские и везде успешно начинал, а когда его допускали к живым, так сказать, деньгам, он их немедленно пропивал, не успев поделиться с государством. Его выгоняли. И не то чтобы Феликс был алкоголиком, то есть он стал им, но позднее, а тогда он просто не умел ждать. Едва только у него заводились деньги, неважно, свои или казенные, он звонил мне в общежитие: «Привет, студент! Есть бабло на кармане, айда в кабаки!» «Кабаки» были его страстью. Москва в те годы была не так щедра на развлечения, как сейчас, и поход в ресторан оставался чуть ли не единственной возможностью быстро освободиться от наличности. За год мы с Феликсом обошли множество московских ресторанов, а в промежутках между ресторанами пили у него дома, чтобы не потерять форму. Пили технический, с масляными разводами спирт, который мама Феликса приносила из типографии.

К счастью, на третьем курсе я познакомился с Тamarой, и это меня отвлекло от попок с Феликсом. Но у него все продолжалось по-прежнему: время от времени он добирался до каких-то денег, тратил их, вылетал с работы и впадал в нищету. Город играл с Феликсом, то подбрасывая его, то опуская, и Феликсу это не нравилось; он обижался, подобно вышеописанному Кириллу. Постепенно периоды нищеты становились продолжительней, а потом слились в одно беспросветное существование. На работу Феликса больше никуда не брали. Кабаки за безденежьем стали ему недоступны, и он перешел исключительно на мамин спирт. Но и этот последний ресурс иссяк после того, как мамы не стало (я подозреваю, что она умерла от горя). В течение короткого времени Феликс продал все, что было в его квартире ценного, а потом и

саму квартиру. И вот, когда он, продав квартиру, остался впервые в жизни с приличной суммой на руках, он серьезно задумался – может быть, тоже впервые в жизни. Перед Феликсом стояла альтернатива: либо начать скитаться по разным сомнительным знакомым, которые, конечно, его ограбят, и в итоге превратиться в системного бомжа, либо, покинув столицу, переселиться куда-нибудь в деревню и попытаться начать новую жизнь. И с непривычки к серьезным размышлениям глупый Феликс выбрал второй вариант. Дальнейшая его карьера получилась, как и следовало ожидать, недолгой. Он временно бросил пить, купил в ближайшем Подмоскowie какую-то хибарку и устроился на работу в леспромхоз. Но, что ни говорите, непьющий еврей в коллективе дровосеков – это дважды белая ворона. Поскольку с национальностью Феликса его новые товарищи ничего поделывать не могли, они заставили его по крайней мере «развязать». Феликс напился раз, напился два, а на третий раз напился в мороз и заснул в лесу под елкой. Заснул навеки.

Мораль этой истории простая: не надо спорить с городом. Если бы Феликс действовал по первому варианту и стал нормальным московским бомжем, он, возможно, был бы жив по сей день.

И, кстати, о покойниках. Кажется, я понял, отчего наша электричка застряла на товарной станции. Из диспетчерской будки, которую я разглядывал все это время, двое в белых халатах вынесли на носилках тело, накрытое простыней. Полагаю, это тело Раисы Григорьевны. Она скончалась внезапно, прямо на рабочем месте, и поэтому в железнодорожном движении возникла заминка. Но я уверен, что в ближайшие минуты город найдет ей замену и мы поедем дальше.

«Одноклассники»

Сегодня у нас неожиданный посетитель – Тамара. Едва поздоровавшись, она критически осмотрела квартиру и взялась за половую тряпку.

Мы с Филом, забившись в угол, глядим на Томин неотвратно надвигающийся зад и помалкиваем – частью от удивления, частью от хитрости. А что в самом деле – пусть поможет нам пол, если ей так хочется.

– Ноги! – раздается команда, и мы с Филом перебегаем на диван.

А у Тома ноги что надо: крепкие, ухоженные, загоревшие в тропиках.

– И нечего на меня пялиться, – ворчит она, не оборачиваясь.

Я смеюсь:

– С чего ты взяла, что мы на тебя пялимся?

– Знаю я вас.

Тамара выпрямляется. Лицо у нее чуть покрасневшее; на лбу – выбившаяся прядка.

Допустим, знает. Но тогда зачем провоцирует? Зачем вообще пришла, неужто полы помыть? Спросить бы ее вот так прямо... но что-то подсказывает мне, что искреннего ответа я все равно не получу. Ну, может ведь человека потянуть на старые места? Полы там помыть, то, другое...

– А сюда ты давно заглядывал? Какой кошмар! Стоя на коленях, Тома льнет к полу, тянется рукой под шкаф. Гибкая... Нет, с этой уборкой надо кончать.

– Хватит, – говорю я, – прекрати надо мной издеваться. Пошли лучше пить чай.

Хорошо принимать даму, если дама эта сама же и марафет наведет в квартире. Хорошо, когда знаешь заранее, с чем она чай пьет. В общем, хорошо в качестве дамы принимать собственную бывшую жену. Плохо только теряться в догадках, каковы ее дальнейшие планы. Впрочем, можно пока поболтать о том о сем. Спросить, как идут дела у нашего Дмитрия Павловича. Ах, он, оказывается, уехал в Екатеринбург! Умница, постоянно расширяет бизнес. А сама она как, Тамара? У нее, если речь идет о работе, все давно уже без перемен; возможно, она достигла своего потолка. Понятно... Ну а зачем все-таки она ко мне... Нет, об этом повременить. Собственно, ситуация проясняется сама собой. Раз Дмитрий Павлович в Екатеринбурге, значит, Тамара пришла, чтобы остаться на ночь. Вопрос только, чем мы с ней займемся – станем вдвоем смотреть телевизор, как в давние времена, или предадимся страсти, как в еще более давние? Или на плече друг у дружки поплачем о том, что нет в жизни счастья? Возможно, помня о временно отъехавшем Дмитрие Павловиче, Тамара предпочла бы третий вариант, я же склоняюсь ко второму. Но главное все-таки не в том, что мы будем делать ночью. Главное, что Тома сегодня со мной. Дмитрий Павлович в Екатеринбурге, а она со мной. Сейчас мы возьмем Фила и пойдем купим чего-нибудь на ужин. А там уж будь что будет; я согласен даже и телевизор смотреть.

Любая улица прекрасна, если идешь ею под руку с женщиной. Птички воркуют, клюют асфальт; дети щебечут – пустили мячик, и прямо нам под ноги. А вот мы его отфутболим... Пас! Эх, куда полетел... «Дядя – дурак!» – голос нежный, как флейта. Правильно, малыш, дядя сейчас дурак.

В такие минуты я вспоминаю своих персонажей – тех, кому отказал когда-то в простом человеческом счастье. Вы приходите ко мне в такие минуты, все отставленные, незаслуженно мной обиженные, я помогу вам, чем смогу. Но только спешите, потому что минуты коротки.

Константин и Людмила. Они были у меня недавно и получили отказ, но теперь я передумал. Я изучил внимательнее их досье и понял, что не все для них потеряно. Оказывается, вы не поверите, они учились когда-то в одном институте, в одно и то же время, на одном и том же факультете. Выяснился этот факт, конечно, с помощью Интернета – там недавно завелся

такой сайт, который так и называется: «однокашники» (или «одноклассники» – не помню). Сайт этот, хотя и сравнительно новый, приобрел огромную популярность. Не потому, что все бывшие однокашники-одноклассники так уж друг по другу соскучились, а потому, что каждому интересно узнать, кто из них насколько состарился. Понятно, что и тут народ наш пускается на кое-какие хитрости, особенно дамы. Не на такие отчаянные хитрости, как на сайтах знакомств, но тоже. Людмила, например, разместила на своей страничке собственный старый портрет, в котором признать ее, нынешнюю, мог бы только большой доброжелатель. Константин поступил честнее – он, по крайней мере, поместил в «одноклассниках» свое современное фото, хотя на лице его там такое нездешнее, байроническое выражение лица, какое он употребляет только для обольщения девушек.

Вот по этому-то фото Людмила его и идентифицировала. Я все-таки поступился немного своими принципами и устроил им совместную поездку в лифте (неважно как; например, заставил Людмилу задержаться на работе). А потом произошел просто невероятный каскад совпадений. Спустя пару часов мужчина, с которым она ехала в лифте, смотрел на Людмилу уже с экрана компьютера. Смотрел с байроническим выражением лица и на своей страничке сообщал, что учился в Институте полиграфии – то есть там же и тогда же, что и она. И на Людмилу нахлынули воспоминания. Ей припомнилось или почудилось, что да, вот в него-то она была влюблена на каком-то там курсе. И что он тоже вроде бы выказывал ей знаки внимания. Но он был, похоже, иногородний, и она иногородняя, из Мариуполя. А потом подвернулся другой, с пропиской, который испортил Людмиле жизнь, но обеспечил жилищные условия. Ах, если бы она не была смолоду такой практичной, если бы поступила, как сердце велело, то... но что бы тогда? Людмила задумалась; ей стало интересно представить, как сложилась бы ее судьба, выйди она тогда не за того, а за этого. Куда бы они, оба иногородние, подались после института? К ней в Мариуполь? И жили бы теперь на гривны... нет уж, спасибо. Или поехали бы к нему, куда-нибудь в Иваново? Но и это немногим лучше. Здесь, в столице, она хотя бы карьеру сделала – шла по трупам, конечно, но сделала. Сейчас Людмила зам, а скоро, возможно, станет завкадрами в немаленьком холдинге... Впрочем, этот байрон, судя по всему, тоже оказался парень не промах, иначе что бы он делал в Москве, в Людмилином лифте? И тут ее прямо подбросило: что делал? – да он ехал домой! Конечно – он ее сосед, раз ездит с ней в одном лифте. Людмила перечитала с пристрастием всю Константинову страничку. Знак зодиака... учился... та-та-та... ага! – разведен; разведен – это славно. Что же касается адреса, которого Константин не сообщал, то Людмила его почти что знала – в смысле дом и подъезд. Спать той ночью она легла очень поздно.

А Константин, напротив, заснул как обычно. Он не узнал Людмилу, поскольку, как я сказал, она вывесила в «одноклассниках» свой старый портрет. К тому же он вообще вечером не включал компьютер, потому что и так устает от него на работе. Если бы во сне его кто-нибудь назвал, как Людмила, «парнем не промах», лицо Константина внутрь себя приняло бы, наверное, то же выражение, что на его фото. Но вообще это выражение ему трудно давалось. Его, выражения, хватило когда-то для обольщения глупенькой, но аппетитной профессорской дочки, но чтобы удержать ее при себе – на это уже не достало. В душе Константин был простым, нормальным человеком, даром что работал шеф-редактором. Только никто, кроме сына Сережи, этих качеств в нем не ценил.

Итак, они оба заснули – он раньше, она позже, разделенные всего несколькими межэтажными перекрытиями. Но на этом история с «однокашниками» не закончилась. На следующий день Людмила уже сама, без моей помощи, специально задержалась на работе. От метро до дома она шла не спеша, взглядывая украдкой на обгонявших ее мужчин, а у своего подъезда почему-то остановилась совсем, словно о чем-то задумавшись. Людмила даже полезла в сумочку за сигаретами, но тут консьерж, увидав ее с помощью системы наружного наблюдения, решил, что она ищет ключи, и отпер подъездную дверь. Дверь запищала, Людмила встрепену-

лась, вошла, поблагодарила Насира за любезность и направилась к почтовым ящикам. Там, у ящиков, она провела еще несколько минут, в течение которых в подъезд никто так и не вошел, кроме одного мужчины с собакой (это был я). Потом Людмила, вздохнув, села в лифт и поехала на свой этаж.

Я думаю, ее тогдашние действия были не вполне осознанными. Вряд ли она всерьез могла надеяться на повторение вчерашней нечаянной встречи. Ловля человека в лифте – абсолютно бесперспективное занятие. В лифте, наоборот, как правило, попадаются те, с кем встречаться почему-либо не хочется: или типы, позавтракавшие чесноком, или вот собаки, трущиеся о ваши ноги своими линючими боками. Как бы то ни было, Людмила в тот вечер вела себя странно; это видели даже мы с Филом – то, как она топталась у почтовых ящиков.

Придя домой, Людмила и там действовала вопреки обычному распорядку. Во-первых, не стала ужинать. Но не потому, что у нее на нервной почве пропал аппетит, а потому, что сегодня, именно сегодня, она по какой-то причине решила начать худеть. Во-вторых, вместо того чтобы сесть по обыкновению отдохнуть с чашкой чаю перед телевизором, Людмила с этой чашкой направилась сразу к компьютеру.

Как и следовало ожидать, на страничке у Константина за истекшие сутки не произошло никаких изменений; Людмиле тоже ничего нового никто не написал. Перещелкивая с Константина на себя и обратно, она выпила две чашки чаю и выкурила в задумчивости две свои тонкие сигаретки. Но о чем ей было раздумывать, я, честно говоря, не представляю. Казалось бы, чего проще – взять и отстучать ему: «Здравствуй, – мол, – Костя, мы с тобой, оказывается, соседи; вот номер моей квартиры, приходи в гости, вспомним молодость». Да, я на ее месте бы так и поступил; но женщины, даже если они только персонажи, создания загадочные. Где-то они готовы идти по трупам, а где-то вдруг проявляют крайнюю нерешительность. В делах сердечных современные женщины мало чем отличаются от тех, что носили корсеты, – та же робость и тонкость чувств. В общем, в результате своих размышлений Людмила так и не отважилась написать Константину прямо, а ограничилась тем, что на собственной страничке впечатала свой полный адрес – на всякий случай.

Тем временем, то есть пока она сидела у себя за компьютером, домой явилась ее дочь Маша. Погруженная в свои сомнения, Людмила не услышала даже, что дочь пришла не одна, а с Сережей, сыном Константина, с которым они вместе учились и, что называется, дружили. Молодые люди прошли в Машину комнату и, закрывшись, некоторое время провели там тихо. Но примерно через час они проголодались и вышли. Маша заглянула к Людмиле в двери.

– Привет, ма! – поздоровалась она. – Скажи, что нам поесть.

– Кому это – нам? – удивилась Людмила.

– Нам – это нам...

– Здравсте! – послышался Сережин голос, и в дверях показалась его голова.

– А... Здравствуй, Сережа, – Людмила сдержанно улыбнулась.

– Ой! – воскликнул вдруг юноша. – Да это же мой папахен.

– Где? – Людмила вздрогнула.

– Да вон, у вас в «одноклассниках», – он показал на компьютер, где на экране красовалось фото Константина. – Вы, значит, тоже в это играете?

Его ухмылка не понравилась Маше.

– Ну и что, – защитила она мать, – все пожилые в это играют.

– Я же и говорю, – Сережа пожал плечами.

Пока они препирались, с Людмилой произошло преобразование. К большому Машиному, да и Сережиному удивлению, она заявила вдруг, что сама накормит их ужином. Она отвела детей на кухню и действительно накормила и лично напоила их чаем. Особенно ласкова она была с Сережей, чем могла бы его смутить, если бы он в принципе умел смущаться.

И вот, когда чаепитие их уже подходило к концу, неожиданно в прихожей раздался звонок. Потом Людмила станет уверять, что уже когда она шла открывать, то знала, кто там за дверью, – дескать, сердце ей сразу все сказало. Но я думаю, что это будет такое сочинительство постфактум, хотя и простительное. Словом, вы поняли – это был Константин.

– Здравствуйте. Вы Людмила?

Он улыбался не байронической, но симпатичной, чуть застенчивой улыбкой:

– Просто невероятное совпадение – я только что зашел на «одноклассников», и что бы вы думали...

Договорить он не успел, вернее, я не успел досочинять, потому что меня отвлекла Тамара. Вопрос неотложный – что мы будем брать на ужин: отбивную или край на кости? Не знаю, что больше подходит случаю, мне, в общем-то, все равно, но приятно, что она со мной советуется. Завтра, когда я уже в одиночестве стану доедать это мясо, мне опять-таки приятно будет вспомнить, как мы на пару ходили в магазин. И вообще как мы с Томой «сходили налево». Согласитесь, в этом есть что-то не только грустное...

Норд-ост

В паре километров от меня, то есть от моего микрорайона, расположены так называемые «поля орошения». Те, кому этот термин кажется слишком поэтическим, именуют их отстойниками либо очистными сооружениями. По сути же это место является мегавыгребной ямой, куда стекаются фекалии мегаполиса. Не все, конечно, но значительная их доля, в том числе и моя. Поля эти находятся от меня к северо-востоку, и при соответствующем направлении ветра я вспоминаю об их существовании. В прежние времена, благодарение богу, норд-ост в наших краях был гостем нечастым, однако с недавних пор я стал замечать, что московская роза ветров сделалась ко мне менее благосклонной – видимо, из-за общих климатических изменений на планете. Последние двое суток я угощаюсь ветром с полей непрерывно. Он не приносит ни тепла, ни дождика – один лишь навязчивый, всепроникающий аромат, от которого нет спасения даже при закрытых форточках.

Утешает меня лишь то историческое осознание, что запах этот сопровождал человечество во все века его существования. Предки наши боролись с ним, сжигая в клозете газетку, а потом изобрели дезодоранты. Правда, в данном случае клозет слишком велик – для его освежения не хватило бы всех дезодорантов мира и даже совокупного тиража московских таблоидов. Известно, что в годину народной беды, во времена различных потрясений и смут запах наступал, усиливаясь до степени вони. Впрочем, сегодня он не так страшен и ощущается скорее как обонятельная неизбежность. Мало ли таких неизбежностей действует на другие наши органы чувств? Телевизионная реклама, например, – она накачивает, и терпи.

Нет, сегодня я народной беды не предвижу; надо лишь терпеть и ждать перемены ветра. И от нечего делать анализировать ассоциации, которые норд-ост будит в памяти. Мне лично он навеивает воспоминания из моего детства. Вы уже в курсе, что детство мое прошло в небольшом подмосковном городке Васькове, где у родителей моих был небольшой собственный домик. Сейчас бы нас назвали индивидуальными застройщиками, а тогда, вместе с обитателями сотен подобных васьковских домиков, мы значились гражданами, проживающими в частном секторе. Не знаю даже, что лучше звучит. И все у нас было частное, сиречь индивидуальное, включая собственные поля орошения, хотя термином этим мы не пользовались. На каждом участке, в самом заросшем, тенистом его углу имелись особая яма-накопитель и над ней дощатое сооружение с необходимым запасом старых газет.

Вот, оказывается, как давно я живу, раз помню такую древность. Но задолго еще до моего рождения, до образования какого-то другого, нечастного сектора, даже до появления газет, Васьково уже существовало, и в нем жили васьковцы. И поскольку они жили, то, безусловно, в меру сил производили и отдавали земле продукт своей жизнедеятельности. Исчислите количество этого продукта, произведенного многими поколениями васьковцев, и вам станет ясно: городишко давно должен был бы в нем утонуть. Но почему же этого не случилось? Почему за сотни лет своего существования Васьково не погрязло в собственных, скажем грубо, фекалиях? Ну конечно же, благодаря ему – благодаря человеку с ведром, представителю одной из древнейших профессий. Имя ему – ассенизатор, хотя раньше он звался по-другому. Вот о нем-то я и поведу разговор.

Татаро-монголы вынуждены были кочевать с места на место и постоянно сражались за территории оттого, что регулярно загаживали свои стойбища. Они были хорошие воины, но плохие ассенизаторы и в результате не создали устойчивого государства. Васьковцы выиграла историческое соревнование, потому что пошли другим путем. Они нашли безземельного мужичка и дали ему лошадь, телегу с бочкой и, главное, ведро на палке. Снарядивши его таким образом, васьковцы поручили мужичку ездить по дворам и вычерпывать из поганых ям то,

что там накопилось. Оттого-то и ямы эти по сей день именуются выгребными. Мужичка же прозвали черпальщиком, а за глаза – говночистом.

Я застал его в раннем детстве – черпальщика с ведром на палке. Потом вместо лошади с телегой ему дали машину, а ведро осталось лишь на всякий случай, так как в основном машина сосала все сама. Для тех, кто не распознал бы машину по запаху, на ней написали: «ассенизационная». Черпальщика по такому случаю тоже переименовали в ассенизаторы, хотя за глаза продолжали звать по-прежнему.

Конечно, я понимаю, что черпальщик, виденный мною в детстве, был далекий потомок первого, которого призвали в пику татаро-монголам. Но мне невдомек, откуда вообще у васьковских черпальщиков брались потомки, ведь все они, сколько я знаю, были людьми неженатыми. Девушки и недевочки по понятной причине всегда сторонились их, да и мужчины, здороваясь, избегали рукопожатий. Такова уж оборотная сторона этой очень нужной, но неблагодарной работы.

Ветер с полей... Помню, как гоняли нас, васьковских сорванцов и похитителей яблок, ревнители частной собственности. За потраву чужих участков многим из нас доставались пониже спины воспитательные заряды соли. Но и мстили мы за себя жестоко: раздобывши пачку дрожжей, мы тайно подбрасывали ее своему обидчику – куда? – конечно же, в выгребную яму! Если у вас есть кто-то, кого вы по-настоящему ненавидите, а у него имеется выгребная яма, поступите с ним так же. Уверяю, эффект превзойдет ваши ожидания – продукт хлынет лавой из отхожего места, и, чтобы справиться с ним, во всей округе неостанется ассенизационных расчетов.

Вот рассказал, и тревожно стало на душе: уж не даю ли я неосторожную подсказку потенциальному террористу? А ну кому-нибудь придет в голову ссыпать самосвал дрожжей в московские очистные? Ужас... Впрочем, надеюсь, они хорошо охраняются.

Ветер с полей... Я видел эти поля – видел с высокого берега реки Москвы. Издали они напоминают не поля, а рисовые чеки или большие прямоугольные пруды. Поверхность этих прудов весьма обширна. Не знаю, какова их глубина, но думаю, что достаточная. Хочется верить, что поблизости от них не играют дети, ведь это опасно. Со мной был такой случай: помню, играли мы с ребятами в «казаки-разбойники», и я, прячась в чужом дворе, спрыгнул в какую-то яму. Вы догадались – яма оказалась выгребной; и я об этом догадался, уже когда было поздно. Хозяева перенесли сортир в другое место, а старую яму оставили открытой – возможно, не без умысла. Яма была глубокой; самостоятельно выбраться из нее я не мог. На вопли мои собралось немало народу, но доставать меня никто не спешил – кто-то даже советовал послать за черпальщиком. Кончилось, конечно, тем, что прибежала моя матушка и, зажавши нос, вытащила меня, свое сокровище, как вытаскивала из других, больших и малых передряг. Домой она гнала меня прутиком, как козу...

Не самые светлые воспоминания, хотя как сказать...

Но провалиться в деревенскую выгребную яму – это полбеды. Если провалишься в городскую – не найдут с водолазами. Да и какой водолаз туда полезет...

Впрочем, возможно, они существуют – специальные водолазы для ныряния в продукт. Я думаю, что живут они в том микрорайоне, что выстроен рядом с полями орошения. Микрорайон этот тоже виден с моего берега Москвы-реки. Называется он «Поселок ассенизаторов», и живут в нем одни только черпальщики и черпальщицы. Ну и, может быть, эти самые говнолазы. В поселке заметна кое-какая инфраструктура: школы и детсады, – значит, столичные черпальщики, в отличие от васьковских, люди семейные и растят детей. Вот в чем сказывается преимущество большого города – здесь каждый может найти себе пару по специальности для продолжения рода. Но вообще за пределами своей слободки ассенизаторы почти не бывают, потому что в метро и в троллейбус их пускают неохотно. Да им, по правде сказать, и незачем

– в городе ведь не надо разъезжать с ведром по дворам. В Москве так поставлено дело, что продукт сам отовсюду стекается в одно место – знай фильтруй да помешивай.

Не хочется думать, что ассенизаторы живут в гетто, но скажите мне честно – вы, например, бывали когда-нибудь в их поселке? Вам знакомы их нужды и чаяния?... Вот так же и мне. Мы поминаем этих людей, да и то недобрым словом, лишь при норд-осте. Так уж мы с вами устроены: о сантехнике вспоминаем, когда у нас засорится унитаз, о милиционере – когда умыкнут кошелек, о враче... Эх, да что там говорить – мы о себе-то вспоминаем, лишь когда у нас что-нибудь заболит. Некогда... С утра до вечера мы заняты, как сейчас говорят, самореализацией, а в это время внутри нас трудятся наши органы – охранительные, очистные – и делают свое скромное, не всегда благовонное, но очень нужное дело.

Память наша и наши чувства – они тоже, как правило, погребены под спудом актуальных забот. Чтобы им всколыхнуться, должно что-то произойти – что-то, что их всколыхнет. Норд-ост ли подует, жена ли бывшая позвонит... Но если то и другое случится одновременно – считайте, все: самореализации в этот день у вас уже не будет.

– Здравствуй, дорогой, как у тебя дела?

– Норд-ост, дорогая.

– Боже! Я помню...

А помнишь ли ты, как мы были счастливы при южном ласковом ветре? Как при западном слушали дождь, согревая друг друга телами? Помнишь ли ты, как назло всем ветрам пустились мы когда-то в плавание по житейским волнам? – ты да я, маленький экипаж... Это было забавно – наши первые ссоры, наши глупые ссоры по пустякам и бурные, в слезах, примирения. А потом унялись стихии, и наступил у нас штиль. И дрейфовали мы с тобой долгие годы, покуда не собрала ты пожитки и не сошла на берег. На чужой берег...

Впрочем, может быть, оно и к лучшему. Я не уплыву далеко, буду ждать тебя, стоя на якоре. Вдруг захочется тебе совершить небольшую прогулку, покачаться опять на волнах – я к твоим услугам.

– Хочешь прийти, дорогая? Приходи... Приходи, если норд-ост тебя не смущает.

Лебедь перелетный

Лев Наумович Лебедь все-таки дождался торжества справедливости. Не всеобщей, не какой-нибудь исторической, а, конечно, только в отношении себя лично. Но и это хорошо. На большее он, в общем-то, и не рассчитывал. Я извиняюсь, что, не удержавшись, забегаю с этим сообщением в хвост предстоящему повествованию. Просто мне хочется, чтобы те из вас, в отношении кого персональная справедливость пока что не осуществилась, читали бы этот рассказик без грусти. Пусть мой герой будет вашим как бы представителем.

Теперь сначала.

Лебедь Лев Наумович – старший научный сотрудник почечуевского музея-заповедника, филолог-литературовед, еврей и русский интеллигент. Лишнее, как говорится, зачеркнуть. Убежденный он придерживается в общем-то либеральных, а в подпитии объявляет себя анархистом-кропоткинцем. Иногда он даже намекает на некоторое свое славянофильство, но это, мне кажется, больше из кокетства.

Приведенная характеристика Льва Наумовича верна на данный исторический момент и такую же была по всем пунктам четверть века назад, когда мы с ним познакомились. Если не знать обстоятельств, всех чрезвычайных событий, произошедших за истекшие годы в стране и с Лебедем, то, поговоривши с ним, можно подумать, что их, этих событий, и не было. Однако события имели место, а к прежним воззрениям и занятиям он вернулся сравнительно недавно, благодаря свершившейся справедливости, выше мной преждевременно упомянутой.

Лебедь старше меня на двадцать два года, поэтому о том, как начинался его жизненный путь, я могу судить лишь по его собственным рассказам. А рассказчик он был хороший. Так, я узнал от него, что в прошлом Лев Наумович совершал высоконравственные, мужественные поступки. Сталкиваясь там и тут в научной деятельности и просто по жизни с идеологическим засильем, Лебедь сильно рисковал, смело вступая в конфликты с тогдашней партийной системой.

На ту пору, когда мы с ним познакомились, то есть приблизительно в эпоху московской Олимпиады, партсистема и идеологическое засилье были все те же, однако Лев Наумович рисковал уже значительно меньше. При мне он противостоял режиму только тем способом, что не ходил на первомайские и ноябрьские демонстрации.

От месткома он потом отлыгался объяснительными записками, в которых ссылался на простуду и другие неполитические причины. И других конфликтов Лебеда с системой я засвидетельствовать не могу. Конечно, как и все советские граждане, он страдал от дефицита деликатесов и отсутствия достоверной информации о происходящем в мире. Но проблема деликатесов стояла у Льва Наумовича не слишком остро ввиду мизерной музейской зарплаты, а информационную он решал для себя, слушая зарубежные радиоголоса.

Настоящих бед у Лебеда было две: отсутствие прописки и эпилептическая болезнь жены. Однако если в первом несчастье советскую власть еще можно было обвинить, то во втором она была уж точно неповинна. Да и прописки у него не совсем чтобы не было – она была, но только в городе А. Город это интересный, старинный, но расположен, к сожалению, за пределами Московской области, а Лебедь очень хотел прописаться в Подмоскovie, а еще лучше в самой Москве. Дело в том, что к столице Лев Наумович странным образом неодолимо тяготел; кроме того, в Москве находились все главные библиотеки, нужные для литературоведческих изысканий.

Что касается болезни жены, то здесь Лебеда главное огорчение доставляли не судорожные припадки, случавшиеся с женой раз-два в год, и даже не временные помрачения ума, бывавшие у нее гораздо чаще. Супруга Льва Наумовича подвержена была, вернее, он был подвержен приступам внезапной агрессии с ее стороны. Галина, так ее звали, имела тоже филоло-

гическое образование, но в состоянии аффекта была Лебеда, как простая баба. Впрочем, эти ее вспышки нельзя было полностью отнести на счет эпилепсии.

Познакомились мы, как я уже сказал, накануне московской Олимпиады. Будучи студентом, я тогда решил на каникулах подработать и устроился экскурсоводом в упомянутый уже музей-усадьбу писателя Почечуева. Музей этот располагается близ моего Васькова и, кстати, довольно известен. Если землякам моим случается кому-то объяснять, что это за Васьково такое и где оно находится, они говорят: «Ну это там, где музей Почечуева». И народ, что пообразованней, понимает – все-таки к писателям в России отношение особое.

Экскурсию свою я сдавал мужчине, имевшему некоторое внешнее сходство с поэтом Пушкиным, – это и был Лев Наумович. А пока я сдавал ее, пришла женщина высокого роста. Она взглянула на меня мельком и заметила:

– Ну вот, еще одного охламона взяли. И добавила, обращаясь к «Пушкину»:

– Лев, тебя к директору.

В тот год в музее писателя шли непрерывные предолимпийские совещания.

Женщина высокого роста была Галина, жена Льва Наумовича. В музее она служила на ответственном посту главного хранителя, хотя, напомним, подмосковной прописки у нее, как и у мужа, не было. Это было явным нарушением тогдашних правил, но правила в советские времена вообще нарушались сплошь и рядом, так что невозможно было даже понять, до каких нарушителей у властей не доходят руки, а на каких они сознательно смотрят сквозь пальцы.

С четой музейщиков-нелегалов я, несмотря на разницу в возрасте, сошелся довольно скоро. Стакнулись мы на почве неприятия содейственности, и к тому же я оказался полезен им по хозяйству. Дело в том, что дирекция музея, ценя их ученость, выделила Лебедам для житья хибару. Выделила в подведомственной ей заповедной зоне, опять-таки в нарушение всех и всяческих законов. Бог знает, кто обитал в той хибаре прежде Лебедей и куда этот кто-то подевался, но починок она требовала тотальных. В первый же свой визит я наладил филологам калитку, потом еще что-то, да так и сделался в их доме желанным гостем. Тогда-то я узнал кое-что и о прошлом Льва Наумовича, и о его отношениях с князем Кропоткиным, и о том, что он, Лев Наумович, бывает Галиной бит.

В первый раз, когда это произошло прямо на моих глазах, я, признаюсь, был шокирован.

Дело было так. Однажды, не помню по какому случаю – возможно, по тому только случаю, что в почечуевскую палатку завезли портвейн, – собрались мы со Львом Наумовичем посидеть по-мужски у него на кухоньке. Где была на тот час Галина – не суть важно; важно то, что не успели мы срезать с «Агдама» пробку, как она явилась. Хлопнув калиткой, которую я только недавно им починил, а потом и входной дверью, Галина сильными шагами сотрясла хибару и вошла к нам.

– Выйдем во двор, поговорим, – скомандовала она Льву Наумовичу.

Я было струхнул, решив, что Галина рассердилась по поводу нашего неурочного распития, но оказалось, что дело не в «Агдаме». Понял я это, потому что дальнейшее мог наблюдать из кухни в окошко. Оно, окошко, было открыто и глядело во двор, куда Галина вывела, но, учитывая это самое окошко, могла бы не выводить Льва Наумовича. А вывела она его вот для чего: едва Лев Наумович спустился с крылечка, как она закатила ему звонкую и, надо полагать, весомую оплеуху.

– Схлопотал? – молвила Галина сурово. – Это тебе за твои блядки!

Так она и сказала – «блядки». Я у окошка обмер. Лев Наумович вернулся на кухню, массируя левую половину лица.

– Извини, – пробормотал он, пряча глаза, – Галя сегодня не в себе. Что поделаешь – больной человек...

Кажется, в тот раз я поспешил ретироваться, но потом по привычке и к сильным выражениям, изредка слетавшим с уст Галины, и к оплеухам, которыми она порой награждала Льва

Наумовича. Какой с человека спрос, если он не в себе. Тем более что, помимо болезни, были для оплеух и другие, вполне объективные причины.

Но вообще-то сцены, подобные описанной, случались нерегулярно, иначе, конечно, я ходил бы к ним в гости без удовольствия. Но мы, напротив, большую часть времени проводили в приятных беседах, сопровождаемых умеренными, как правило, возлияниями. А солировал в этих беседах, конечно же, Лев Наумович. Рассказывал он и вправду интересно: об университетской своей юности, о джазе, о литературе, в которой, будучи филологом, хорошо разбирался, и о многом другом, в чем он разбирался хуже, но я и вовсе не смыслил. Ну и, конечно, об идеях кропотливости. В этом идейном контексте он, понятно, часто сокрушался, что страна наша слишком велика и централизованна. Впрочем, на российские расстояния Лебедь сетовал и по собственной причине – их он измерил лично, путешествуя в поисках лучшей прописки. Дистанцию от Сибири, где Лев Наумович начинал свой трудовой путь по университетскому распределению, до Москвы никак невозможно покрыть одним прыжком, поэтому Лебедь двигался перебежками. Из губернии в губернию, из города в город, с потерями в должности, в товарищах, в квадратных метрах... Лучшие годы жизни Льва Наумовича ушли на то, чтобы добраться до города А., который еще даже не принадлежит Московской области. «Лебедь – птица перелетная», – говаривал он о себе не без иронии, и это было правдой.

Но беседы наши касались не только отвлеченных тем. Текущая политическая ситуация тоже занимала наши умы. В частности, в те дни только и разговоров было, что о предстоящей Олимпиаде. Не знаю, как остальные советские граждане, но мы, москвичи и жители Подмосковья, все от нее чего-то ждали – ждали и путались в своих ожиданиях. Говоря попросту, мы одновременно надеялись на вкусненькое и опасались «репрессий». И кое-что, в общем, сбылось: в Москве появилась финская колбаса и началось массовое выдворение из города бомжей, цыган и прочего нетрудового и неспортивного элемента. Завоз колбасы в область, по видимому, предусмотрен не был, но план по «зачисткам» спустили и нам.

Эту кампанию по выдворению Лев Наумович встретил на нервах, но с достоинством. «Дальше А. не сошлют», – мужественно шутил он. Действительно: «элемент» выселяли за так называемый «101-й километр», а город А. располагался сразу за этой роковой чертой.

Однако васьковские власти Лебедей прошляпили. Про бомжей и цыган они доложили наверх, что таковых в Васькове не имеется, а на 101-й километр оформили нескольких условно освобожденных граждан и квартирных неплательщиков. И так вышло, что среди них, среди этих злостных неплательщиков, попавших под административную руку, оказался музейский истопник, алкоголик Матвеев. Узнав о своем приговоре, Матвеев очень расстроился. Целыми днями он шатался пьяный по музею, делясь с сотрудниками своим горем. «Слыхал? – приста-вал он к каждому встречному. – Слыхал, брат, какая у меня беда? То-то...»

Так он добрался до Лебеда.

– Слыхал, Наумыч? Беда-то какая... Выселяют меня на сто первый километр, в чертов А. выселяют!

– Вот как? В чертов А.? – заинтересовался Лебедь. – Ну и мерзавцы... Только для вас лично я тут большой беды не вижу. Не все ли равно, Матвеев, где вам пьянствовать?

– Как так все равно? – обиделся истопник. – А жить-то меня там куда поселят? В общагу нешто, клопов кормить?

– Зачем же в общагу? Знаете, у меня на этот счет появилась хорошая идея... Не сходить ли нам в магазин?

Идея Лебеда, разумеется, состояла не в том, чтобы напиться с истопником. Угощение понадобилось, чтобы уговорить его на взаимовыгодный обмен. В городе А., куда ссылали Матвеева и где, как вы знаете, были прописаны Лебеди, у них, Лебедей, имелась небольшая квартира. Так себе квартирешка, в доме барачного типа, без газа и горячего водоснабжения, однако и без клопов, потому что там, где люди не живут, клопам тоже нечего делать. Вот Лев Наумо-

вич и прикинул: отчего бы ему не взять да не обменяться с Матвеевым жилплощадью? Раз уж такая беда. Конечно, при этом истопник терял подмосковную прописку, но зато ее приобретал Лебедь. А, как он справедливо заметил, не все ли равно, где Матвееву пьянствовать?

План казался верным, но истопник его принял не сразу. Он несколько раз передумывал, капризничал и требовал каких-то денег. Иногда он внезапно, как это свойственно алкоголикам, принимался браниться, поминая без причины национальность Льва Наумовича. Путешествуя с ним по несколько раз на дню в магазин, Лебедь порядком издержался и от вынужденного совместного употребления сам уже стал походить на своего контрагента. Осада продолжалась без малого неделю. Наконец Матвеев сдался, подписал нужные бумаги, собрал свои дурно пахнущие пожитки и в слезах отбыл на высылки.

Так в своем преолимпийском административном раже советские власти, сами того не желая, помогли Льву Наумовичу еще на шаг приблизиться к Москве – библиотечному и культурному центру нашей чрезмерно централизованной страны. Однако в жизни Лебеда оставалась еще одна проблема – душевное нездоровье супруги. Говоря о болезни Галины и вызванных ею внезапных приступах гнева, я упомянул уже о другой возможной причине этих приступов. Но, не оправдывая Льва Наумовича, скажу сразу: выражение «блядки» в его случае я нахожу слишком крепким. В случае со Львом Наумовичем больше бы подошло французское слово «адюльтер», хотя в переводе оно тоже не означает ничего хорошего. Во всяком случае за адюльтер не бьют по уху, а если и бьют, то не так сильно, как это делала Галина.

Сознаемся: Лев Наумович грешил по амурной части. Но что ему оставалось делать? Он интересный, похожий на Пушкина, широко образованный мужчина, пользовался вниманием музейных сотрудниц, тонко чувствующих женщин, среди которых, поверьте, всегда можно сыскать одну-двух нестрашных. Тем более что описываемые события происходили летом, а лето, будь оно трижды олимпийское, это в музее-усадьбе сезон амуров и адюльтеров. Все сколько-нибудь интересные сотрудницы и нестрашные сотрудницы, не занятые в экскурсионном процессе, гуляют летом в мемориальном лесопарке, читают друг другу стихи и прислушиваются к зову плоти. А потом наступает осень, и адюльтеры увядают сами собой либо переходят в стадию капитального романа. Но если Галина опасалась, что ее Лебедь созреет до внебрачного романа, то совершенно напрасно – он никогда не был склонен осложнять себе жизнь.

Но наши со Львом Наумовичем мужские приятельские отношения были другого рода. Осенью не увяли, а возобновлялись всякий раз, когда я, наезжая в Васьково, приходил к нему повидаться. С бутылкой «Агдама» или «Алабашлы» я, смотря по сезону, навещал его либо в квартире, неистребимо пахнувшей истопником Матвеевым, либо в старой хибаре, служившей теперь Лебедам в качестве дачи. Со Львом Наумовичем мы беседовали о литературе и на разные другие гуманитарные темы, а Галина, когда не бранилась, кормила нас довольно вкусно – она умела хорошо готовить из простых продуктов. Впоследствии, когда я женился на Томе и сделался москвичом, Лебедь стал отдавать мне визиты. Ему удобно было заночевать у нас после дня, проведенного в библиотеке или в беготне по редакциям.

Между прочим, это его корпение в библиотеках и беготня по редакциям были не совсем бесполезными. Конечно, десятилетие, прошедшее между Олимпиадой и падением СССР, было глубоко застойным, зато в его биографии ученого оно оказалось самым плодотворным. Итогом его стали четыре удачно тиснутые литературоведческие статьи и одна монография о Почечуеве. Вообще это десятилетие, эти гнилые восьмидесятые, принято сейчас только ругать, но я не могу присоединиться к общему мнению – не могу потому хотя бы, что мы с Тамарой прожили эти годы в любви и согласии. Правда, однако, состоит в том, что все тогда были недовольны существующим положением вещей. Мы с Томой, например, хотели и не могли родить ребенка, а Лев Наумович по-прежнему хотел и не мог прописаться в Москве. И еще его огорчало отсутствие перемен «в плане Галиного здоровья».

Что ж, наша с Тamarой надежда не сбылась, а вот Лебедь свои перемены накликать. Грянули они вслед за развалом империи, который Лев Наумович, как истинный кропоткинец, поначалу горячо приветствовал. Однако ему, как теоретику, следовало предвидеть, что большой развал повлечет за собой малые и что в почечуевском музее обязательно тоже начнутся беспорядки. И они начались. Вместо прежнего номенклатурного директора на головы музейцам свалился новый, оказавшийся, конечно, жуликом и проходимцем. Первое, что он сделал, это уволил Галину Лебедь с должности главного хранителя, чтобы не мешала разворовывать фонды. Это увольнение плюс денежная реформа вызвали серьезные перемены «в плане ее здоровья». В конце девяносто второго года с Галиной случился сильный эпилептический припадок, в результате которого она скончалась.

Со смертью Галины Лев Наумович не то чтобы затосковал, но, я бы сказал, развинулся. Сам он не мог накормить себя вкусно и дешево и уж тем более надавать себе оплеух за очередное прегрешение. Грех и недоедание постепенно вошли у него в привычку; жизнь и личность его оказались на грани развала. Пошатнулись даже его либеральные убеждения.

– России, – сказал он мне как-то, – нужен новый Пиночет, – но, помолчав, добавил: – А впрочем, черт с ней, с Россией.

В этом его нечаянном прибавлении сказало, видимо, глубокое разочарование. Я догадался, что Лебедь адресовал стране скопившуюся у него обиду за собственную несложившуюся жизнь. Обиду за долгие скитания, за нищету, за рукописи, не принятые в печать, за годы, прожитые с ненормальной женой, – в общем, за всю свою человеческую, филологическую, а может быть, даже и половую нереализованность. И еще я смекнул, что Лебедь созрел для того, чтобы опять поменять прописку.

И я не ошибся. В следующий свой приезд Лев Наумович привез с собой трехтомник поэта Кирсанова и золотые женские часики.

– Я тут почистил свою библиотеку, – сказал он, доставая трехтомник. – В общем, это тебе в подарок.

– А часики? – спросил я.

– Часики это Галины, – ответил он. – Так сказать, память. За них я с тебя возьму недорого. Мне, видишь ли, сейчас с ними возиться недосуг, а ты зато потом сможешь их выгодно продать или обменяешь на еду.

– На какую еду? – удивился я. – И что значит недосуг?

– На еду, – объяснил он, – это когда у вас тут станет нечего жрать. А недосуг, потому что я отсюда уезжаю.

Все стало ясно. Часики я, конечно, покупать не стал, но Лебедь не очень-то и расстроился. Кажется, потом он загнал их тем же азербайджанцам, которым продал свою, то есть матвеевскую, квартиру.

Перед самым своим отбытием Лев Наумович посетил меня с бутылкой – в последний раз. Ему хотелось поговорить, объясниться, подвести, что ли, итог своему более чем полувековому пребыванию в России.

– Главное, – сказал он мне после третьей или четвертой рюмки, – главное, что я понял за свою жизнь, это то, что в этой стране я никому не нужен. Не нужен был при совке, а теперь и подавно – девушки даже, и те перестали ценить в мужчине интеллигентность.

Волнуясь, Лев Наумович особенно походил на Пушкина, только Пушкина пожилого и с еврейским носом. Слушая его, я тихо грустил, но Лебедю каждые следующие пятьдесят граммов лишь прибавляли горячности.

– А ведь есть, – восклицал он, – есть на свете другие государства! Там ценят каждую отдельно взятую человеческую личность и ставят ее во главу угла... нет! – в центр мироздания, вот куда они там ее ставят!

Пытаясь ему возражать, я бормотал, что все это глупость и мракобесие и что не может даже с научной точки зрения мироздание обращаться вокруг отдельно взятой человеческой личности. Но я был нетрезв и, конечно, неубедителен.

А через несколько дней Лебедь отбыл налегке.

Он покинул нашу неправильную страну с искренним желанием начать новую жизнь. Однако желание его сбылось не полностью – жизнь за границей оказалась хотя и другой, но кое в чем похожей на старую. Самое досадное, с чем столкнулся там Лебедь, это была все та же проблема прописки. Страны, где человеческую личность ставят во главу угла, вовсе не жаждали предоставить этот самый угол Льву Наумовичу. Прежде чем попасть туда, надо было как минимум пожить в одном маленьком южном государстве, которое во главу угла ставило не столько личность, сколько отсутствие у личности крайней плоти на пенисе. И хотя этому государственному требованию Лебедь удовлетворял, но само государство не удовлетворило Лебедея. Чем и почему – об этом он потом говорил туманно. Вроде бы в городке, где его поселили, у Льва Наумовича не сложились отношения с раввинатом. На самом деле, я думаю, причина в том, что городок не особенно нуждался в русскоязычных филологах, а местные девушки – в интеллигентных мужчинах...

Я продолжаю с красной строки, хотя не знаю зачем, потому что все бытие Льва Наумовича в эмиграции можно было бы уложить в один абзац. Единственная должность, какую удалось получить русскоязычному филологу в маленьком городке маленького государства, была должность полотера в местном универсаме. В этом качестве он пребывал семь с половиной лет безо всякого шанса скопить денег на переезд в страну, где не было бы раввината и где он как личность оказался бы в центре мироздания. Впрочем, и там, надо полагать, он не сделал бы лучшей карьеры. Так бы и оставался Лев Наумович по сей день полотером, забывая постепенно русскую речь, березы и филологическую премудрость, но... если помните, я уже анонсировал счастливый конец его истории.

И все-таки благая, хотя отчасти печальная, весть пришла к нему не откуда-нибудь, а с родины. За те годы, что Лебедь провел вдали от России, там, то есть здесь, не случилось ничего того страшного, что он предрекал. С продуктами у нас наладилось, и даже к руководству государством пришел почти что новый Пиночет. В стране и особенно в столице увеличилась рождаемость, правда, к сожалению, без нашего с Тamarой участия. Снизилась смертность. Снизилась, но, увы, не прекратилась совсем – пожилые люди продолжали кое-где умирать, освобождая жилплощадь и даря своим более молодым родственникам радость сквозь слезы. И вот в силу такой естественной смертности однажды в городе Москве скончалась старушка. Я не был знаком с этой старушкой, и, конечно, никто не известил меня о ее кончине. Но Льва Наумовича Лебедея известили, потому что старушку звали Фаиной Наумовной, в девичестве Лебедь, и приходилась она Лебедю родной сестрой. Лев Наумович мне о ней почти не рассказывал, и я знаю только, что они пребывали в какой-то многолетней ссоре. Подозреваю, что он не мог простить ей московской прописки, которую она заполучила, как и я, путем удачного бракосочетания. Как бы то ни было, но, уходя в мир иной, Фаина Наумовна вернула младшему брату сестринский долг, завещав ему свою московскую квартиру.

Узнавши эту счастливо-печальную новость, Лебедь репатриировался с такой быстротой, что едва не успел на сестрины похороны. Мысль о том, чтобы продать новообетенную квартиру и отправиться все-таки на ПМЖ в те страны, где ценят человеческую личность, почему-то даже не пришла ему в голову. Теперь он опять работает в музее-усадьбе писателя Почечуева старшим научным сотрудником, правда лишь с двумя присутственными днями, так как из Москвы в Васьково добираться не ближний свет. Он снова пьет водочку, поругивает российский централизм и толкует о Кропоткине. Житье свое на чужбине Лев Наумович не вспоминает и только при случае строго взыскивает с музейского полотера.

А вот с «блядками» уже, конечно, покончено – годы вышли.

Бедовый месяц

У всякого человека есть места, особенно для него памятные. Места, где прошло его детство, или где встретил он свою любовь, или просто где жил когда-то и, сам того не сознавая, был счастлив. Такие места хорошо иногда навестить: прийти, постоять, подумать; повздыхать, как над милой могилкой. Только вот иногда оказывается, что прийти-то нам и некуда, потому что места эти, кроме как в нашей памяти, нигде уже больше не существуют. И нет ни руин, ни пепелища; все стерто с лица земли; хуже того – переиначено неутомимым застройщиком-временем. Конечно, путешествовать в прошлое можно и так, умозрительно, ведь память у нас еще не отнята, память-то – наша. Хотя как сказать...

Стертые места... Все чаще я нахожу их не только на внешней поверхности собственной головы, но и внутри нее. Хочется порой повздыхать сладко, припомнив что-нибудь эдакое, что-нибудь хорошее из собственной жизни, – и никак. Стерто, застроено позднейшими текстами, даром что мною же сочиненными. Читатель, быть может, и вздохнет над ними, а у меня уже не получится.

К примеру, такой вот текст, сооруженный мной и успевший уже обветшать в том самом месте, где должно было бы жить воспоминание. Начало он берет... нет, не помню, где он берет начало. Где-то в Москве, в окрестностях моего института. В точности сказать не могу, потому что в те свои молодые годы я, как выражались мои товарищи, был «слаб на вино». Не в смысле особенной приверженности к алкоголю, ему мы все были привержены, а в том смысле, что быстро пьянел. Я быстро пьянел на наших студенческих попойках и потом уже плохо помнил, где шатались мы, с кем дрались, с кем целовались и какие другие совершали подвиги. Наутро, проснувшись у себя в общежитии, я узнавал обо всем из рассказов товарищей, и это были мои первые опыты замещения стертой памяти.

Однако проснуться в общежитии мне удавалось не всегда. Пробуждение после попойки могло застать меня и в случайном парадном, и на парковой скамейке, и на автобусной остановке, и в милицейском обезьяннике – да, собственно, где угодно. Единственное, что было общим для всех таких пробуждений, – это первая мысль, возникавшая еще до того, как я открывал глаза: «Лучше бы мне не просыпаться». Мысль эта в основе своей пессимистичная и даже депрессивная, однако именно ею, а точнее, фразой, ее замещающей, вынужден я открывать свой текст.

Итак: «Лучше бы мне не просыпаться...» – подумал я прежде, чем открыл глаза. В этот миг я не помнил еще ни имени своего, ни где нахожусь, но знал уже точно, что снова пьян. Так бывало со мной и раньше: эта догадка непостижимым образом возникала в моем сознании в самый момент пробуждения. Но на сей раз у меня было ощущение, что роковое известие пришло извне.

– Он пьян, Томка, что ты с ним возишься! – послышался откуда-то сверху сердитый голос.

А другой голосок, сострадательный, будто бы первому возразил:

– Постой... Не бросать же его вот так. Словно два моих ангела, черный и белый, решали мою судьбу.

И черный ангел сказал:

– Ну как знаешь. Тогда я пошла.

А белый остался со мной.

Я почувствовал на лице своем мокрую тряпочку – наверное, носовой платок. Ангел то ли умывал меня, то ли приводил в чувство – во всяком случае мне это было приятно. Не размыкая век, поискал я благодарной рукой и наткнулся на голую коленку.

– Но-но, без глупостей! – сказал ангел.

И тогда я понял, что голосок этот слышу не впервые. Сознание постепенно ко мне возвращалось. К моменту, когда я предпринял решительное усилие, чтобы прозреть, я уже догадывался, чье примерно увижу лицо. Но когда это случилось, когда я разлепил наконец свои веки, то узнал это лицо и не узнал одновременно. Да, я вспомнил его: щечки, губки... К этим губкам я где-то, кажется на вечеринке у Феликса, уже пытался приложиться (и – «но-но»). Губки, щечки и носик – все я припомнил, а вот глаза не узнал. Потому что сейчас это были глаза ангела и излучали они свет милосердия.

– Ну, наконец очухался! Я всю минералку на тебя извела.

– Дай попить, – прохрипел я в ответ.

Приподнявшись на локтях, я осмотрелся, чтобы сориентироваться на местности.

– Где это мы?

Она хихикнула:

– В Москве.

И тогда действительно нахлынул шум города, словно кто-то «воткнул» его на полную громкость. Во главе этого шума пошел, взвинчивая вой, троллейбус, а за ним, взрывая и взрыкивая на все лады, двинулось невидимое буйное стадо машин. Захлопали крыльями птицы, заиграла музыка, загомонили, зашаркали невидимые толпы людей. Мы были в Москве.

Трава, от которой я оттолкнулся, испачкала мне ладони резиновой сажей; земля под ней была теплая и дрожала. Я встал не сам – это город поднял меня и обнял, придержав за плечи. Мы дышали друг другу в лицо – я ему водочным, а он мне моторным перегаром.

Тома – я вспомнил уже, как звали моего ангела, – позволила мне допить свою минералку. Потом она отряхнула мои одежды и собственной расчесочкой восстановила на голове моей пробор. Теперь нам, наверное, можно было бы попрощаться, но мне хотелось выяснить последний вопрос – откуда она взялась? Не небо же, в самом деле, послало ее мне на выручку. А если небо, то пусть она скажет...

– Ты забыл? Мы же вместе гуляли!

Вот оно что! Мы, оказывается, вместе гуляли. А потом Феликс сказал: «Положим его здесь – пусть проспится, не то в метро его заметут». И все пошли, а она осталась.

Но это еще не был ответ на мой вопрос.

– Ты хочешь знать, почему я осталась? – уточнила Тома. – Как тебе сказать... Может быть, мы пройдемся? Если, конечно, ты в состоянии.

Я не знал, в состоянии ли я пройти, но этого никто не знает, пока не сделает первый шаг. Она взяла меня под руку, и я шагнул. Потом еще раз и еще; из бульвара в бульвар; тверже становились ноги, осмысленней делалась речь... Мы шли по Москве, по малому кругу, а во мне тем временем совершалось чудо исцеления. Хорошо быть молодым! Лишь в молодости тело и душа способны на такие скорые метаморфозы. Я ли это, мычащий и жалкий, валялся в траве час назад? И вот уже, умытый минералкой и причесанный на пробор, я гуляю с девушкой под руку, и она находит меня интересным собеседником.

Правда, недолго мне было оставаться трезвым. В продолжение нашей прогулки, обмениваясь со своей спутницей положенными многозначительными глупостями и млея от наших нечаянных соприкосновений, я чувствовал, что мной овладевает новое и, признаюсь, непривычное для меня опьянение. Ведь на девушек, в отличие от вина, я в те годы слаб не был. Не то чтобы у меня был к ним иммунитет, но случайные поцелуи и иные контакты с противоположным полом синдрома привыкания не вызывали. Тем удивительней, что в тот вечер, к моменту нашего расставания, я был уже в полной уверенности, что влюблен. Влюблен в эту Тому.

Впрочем, само по себе мое открытие может показаться несущественным. Многие юноши влюбляются в девушек, погулявши с ними по вечерней Москве. Наутро, много через неделю, от прогулок этих остается лишь текст. Но таков обычный сценарий, а моя прогулка закончилась не столь благополучно. Неожиданно и почти беспричинно, если не считать причиной безрас-

судство молодости, я втюрился в Тому, что называется, по самые уши. Некоторые специалисты объясняют этот феномен действием какой-то таинственной «химии». Я готов согласиться, потому что «психологией» это во всяком случае не назовешь. Без долгих рефлексий я обрушил на Тому всю силу открывшегося во мне первобытного чувства; я не дал ей опомниться и не оставил даже времени походить в «моих девушках». Все произошло в течение нескольких недель – от умывания меня платочком до записи в Бюро гражданских состояний.

Совсем еще недавно она была Томкой из третьей группы, а теперь стала моей женой. И губки, и щечки – все это было мое; и я со всеми своими достоинствами тоже целиком принадлежал ей. Природа наделила нас достаточными физическими и умственными качествами, чтобы начать совместную жизнь, – остальное нам полагалось получить с родителей. Под остальным я, конечно, разумею жилплощадь и средства к существованию.

И вот тут, по родительской части, у нас с Томой возникли первые затруднения.

Представьте себе сцену: я привез молодую жену в Васьково – знакомить со своими стариками.

– Ах ты господи! – всплескивает руками матушка. – Худенькая-то какая!

– Зато мало ем, – краснея, отшучивается Тома.

– Ничего, – говорит матушка утешительно, – мы тебя молочком отпоим. Смотри, какая у нас козочка.

Выходит коза. Тома вскрикивает:

– Ой, она мне юбку жует!

Отец, продувая папиросу, поглядывает из-под бровей. Наконец спрашивает:

– У нас поживете?

– М-м-м... – отвечаю я.

– Понятно, – буркает он.

– Что тебе понятно? – тревожится матушка. Отец чиркает спичками – одна, другая...

– Все мне понятно! – повторяет он с сердцем. – И что учеба теперь побоку... и все вообще мне понятно.

– Ну вот, уже и забубнил... – матушка оглядывается, не слышат ли соседи. – Пойдемте-ка лучше в дом.

Уезжаем мы на следующий день с обещанием «бывать почаще». На житье нам выданы сторублевка и банка козьего молока. Настроение у нас смутное, скорее плохое, тем более что Тома на станции сломала шпильку.

Теперь действие переносится снова в Москву, в дом дохрущевской постройки, в квартиру с лепными излишествами на высоких потолках. Здесь на восьмидесяти метрах полезной площади проживают Томины родители, ее младший брат Витек, глухой белый кот и сама Тома с молодым мужем. Муж – это я, зять-примак, неожиданное семейное излишество.

В гостинной на календаре с полуголой полуяпонкой текущее число обведено красным фло-мастером – так Николай Степанович, Томин папа, обозначает государственные праздники. Их, эти праздники, он обязательно по окончании официальных мероприятий отмечает в порядке застолья со своими близкими. Сегодня в число близких входят его жена, Ирина Борисовна, а также его зам по снабжению, его министерский товарищ с супругой и его дети – Витек и Тома. Кот уже поел и валяется на ковре, а моя тарелочка примостилась на дальнем углу стола, чтобы мне больше никогда не жениться. Присутствующие пьют, закусывают и внимают речам Николая Степановича (все, кроме глухого, на его счастье, кота).

Выступления Николая Степановича, оформленные в виде тостов, содержат установленный набор тем, выстроенных последовательно по убыванию значимости. Темы эти таковы: а) международное положение, б) успехи завода железобетонных изделий, возглавляемого Николаем Степановичем, в) успехи (если таковые имеются) Витька и Тома в учебе, г) хвала хозяйке за чудесный стол с поцелуем оной в губы. Здесь Ирина Борисовна держит ответное слово, в

котором совершенно справедливо отмечает, что стол этот целиком заслуга Николая Степановича. Мысль ее, впрочем недосказанная, состоит в том, что все яства на чудесном столе взяты не из гастронома, а из номенклатурного распределителя. Министерский товарищ с супругой понимающе кивают. Обязательная повестка сворачивается обычно с подачей «горячего». Когда Николай Степанович кушает, то внятно говорить не способен.

После основного блюда хозяину требуется передышка. В эти минуты он вилок ищет что-то у себя во рту и выглядит отрешенным. Но вскоре его взгляд проясняется, следующим разделом в повестке значится «разное». Теперь уже никто, включая самого Николая Степановича, не знает наверняка, о чем он заведет речь. Возможно, он заговорит о футболе или ударится в свои номенклатурные воспоминания. А может быть, ничего не говоря, окинет взглядом все собрание да затянет любимую народную песню. Правда, в последнее время Николаю Степановичу не очень-то поется. Взгляд его, обводящий застолье, неизбежно натывается на меня, и лирическое настроение у него пропадает.

Что ж, вот и обозначился следующий пункт программы. На лице Николая Степановича уже играет плотоядная усмешка.

– А теперь, – возглашает он, – я хочу выпить за здоровье моего дорогого зятя!

– Начинается... – бормочу я злобно.

– Папа, не надо... – пищит умоляюще Тома.

Но нет, папе надо, и очень! Ему просто-таки необходимо отомстить мне за свою неспетую песню. Ирине Борисовне что-то срочно понадобилось на кухне. Гад Витек в предвкушении скандала уже фыркает в свой стакан. Николай Степанович задушевно повествует о том, какого полезного члена приобрела их семья в моем лице и как сильно прирос ее совместный бюджет благодаря моей стипендии. Министерский товарищ с супругой качают головами – я знаю, что их собственный сынок когда-то подкатывал к Томе, но безуспешно, хотя и учится на дипломата. Папин зам по снабжению откровенно ухмыляется – в глазах этого прохиндея я уж точно не являюсь ценным приобретением.

Наконец мое терпение иссякает.

– Пропадите вы пропадом с вашим бюджетом! – кричу я. – Я женился на Томе, а не на вас!

После чего, гремя стулом, вскакиваю и, пнув по дороге ни в чем не повинного кота, выбегаю вон.

Добавлю, что сцены, подобные описанной, случались в моей новой семье не только по праздникам. Николай Степанович цеплялся ко мне и в обычные дни, если бывал не в духе, а не в духе он делался всякий раз, столкнувшись со мной на выходе из сортира либо как-то еще. Нет, не такой партии хотел он для своей дочери. Хотя на собственный вкус Николая Степановича Тома была чересчур худошава, но он знал, что в обществе она считается чуть ли не красавицей. Его товарищи, имевшие сыновей на выданье, а таких было немало, не раз намекали, что не прочь с ним породниться. И какие товарищи! – капитаны промышленности, партийные деятели... Мысль о том, что его генеалогический капитал достался безродному приезжему студентушке, отравляла Николаю Степановичу жизнь. Так хоть бы этот студентушка умел быть благодарным!

Признаюсь, тесть мой был прав – держался я с ним нагло. Да и не только с ним. Ирину Борисовну, например, я раздражал тем, что читал за столом. Она вообще находила чтение сомнительным занятием, а уж за столом – просто неприличным. Правда, Ирина Борисовна редко высказывала свое неудовольствие мне в лицо, а предпочитала действовать через Тому.

И еще оставались два второстепенных персонажа – Витек и кот, которые оба не прочь были устроить мне какую-нибудь мелкую пакость. С ними, однако, я без труда разбирался посредством тайного рукоприкладства.

Ждать, пока эта номенклатурная семейка ко мне притерпится, было недосуг. Поэтому, скажу откровенно, я не раз думал о том, чтобы хлопнуть дверь и обратиться назад в общагу.

Но как мне было расстаться с Томой? Я любил ее – это во-первых, а во-вторых, она любила меня. Однако, как известно, выход возможен из любой ситуации, пусть даже такой, что глупей не придумаешь. У нас дело кончилось тем, что после очередного сражения с Николаем Степановичем мы с Томой сбежали вместе.

А глупость наша заключалась в том, что бежать нам было, по сути, некуда. В институтское общежитие семейных, да притом москвичей, не принимали. Васьково находилось слишком далеко, и там жила страшная коза, а в городе без копейки денег мы могли поселиться разве что на вокзале или у моего приятеля Феликса. Мы выбрали последний вариант, хотя на вокзале, наверное, Томе было бы спокойнее.

Жил Феликс в небольшой квартирке вдвоем с матерью, то есть в неполной семье, что само по себе уже радовало. О маме его я знал и знаю по сей день только то, что она в какой-то типографии работала кладовщицей. Незаметная труженица, столь же незаметная и в быту, она была самой подходящей матерью для сына-оболтуса, каким, без сомнения, являлся мой приятель. Я не помню, чтобы она что-нибудь выразила по поводу нашего с Томой появления. Сам же Феликс отнесся к нашей беде сочувственно и согласился нас приютить, предупредив, однако, что гостеприимство его простирается небезгранично.

– А то с вами, – сказал он, – у меня тут не будет никакой личной жизни.

Если под личной жизнью Феликс разумел попойки, которые регулярно устраивал у себя дома, то он зря беспокоился. Мы прожили у Феликса три дня, и все эти три дня я пропьянствовал с ним, к великому ужасу Томы. Однако, как оказалось, пили мы с Феликсом не напрасно. Именно на третий день нашего сидения приятеля моего осенило – он придумал, как решить мою жилищную проблему.

– Есть! – воскликнул он и покачнулся на стуле. – Есть идея!

– Что такое? – я приоткрыл один глаз.

– Отличная идея, на предмет, куда бы вас с Томкой поселить. Хорошее место, и денег платить не надо. Потом благодарить меня будете.

Звучало это, мягко говоря, неправдоподобно, но я пил уже третий день и соображал неважно.

– Что же ты раньше молчал, чудило?

– А черт меня знает, – Феликс пожал плечами.

В доказательство того, что он не врет, Феликс предложил поехать немедленно – узнать, не занято ли «хорошее место», и, если что, договориться. Ехать так ехать; я согласился не раздумывая только потому, что, повторяю, был пьян. Впрочем, терять мне все равно было нечего. Поддерживая друг друга, мы с Феликсом не без труда привели себя в ходячее состояние, оделись и, не слушая Томиных протестов, подались из дому.

Однако, выйдя на морозец и немного протрезвившись, я все-таки поинтересовался, куда мы идем и что это за странное место, где за проживание не требуется платить.

– Кто сказал – не платить? – удивился Феликс.

– Ты сказал.

– Разве? Значит, ты меня не так понял. Тогда давай сядем перекурим.

Мы плюхнулись на подвернувшуюся обледенелую лавочку, закурили, и Феликс наконец сообщил, что ведет меня к Дмитричу.

– Кто это? – недоуменно спросил я.

– Дмитрич-то? О, это большой человек! – Феликс сделал значительную мину: – Дмитрич – наш главный дворник. Не дворник даже, а бери выше.

В словах Феликса прозвучало искреннее уважение, однако мне оставалось непонятно, как дворник, пусть даже и главный, сможет решить наш жилищный вопрос.

– Сможет, – отрезал Феликс. – Сможет, если ты ему глянешься.

И он рассказал мне все, что знал об этом и впрямь незаурядном человеке. Дмитрич действительно был по профессии дворником и числился в штате местного райкомхоза. Только дворник он был не простой, а умный, в чем-то опередивший свою эпоху. Подобно большинству своих коллег, Дмитрич тяготился метлой и лопатой, составлявшими главные орудия его труда, и мечтал от них избавиться. Но пока прочие дворники ограничивались мечтаниями, он нашел решение проблемы. Обнаружив в себе отвращение к физическому труду, Дмитрич рассудил вполне здраво: надо устроить так, чтобы труд этот выполняли за него другие. Мысль нехитрая, но для дворника неожиданная. Вопрос заключался лишь в том, где найти дураков, желающих махать метлой вместо Дмитрича. И таковые нашлись.

Дураков Дмитрич нашел, можно сказать, не сходя с места. Дело в том, что квартал, введенный его попечению, наполовину состоял из строений, определенных под снос. Ведь это неправда, что московскую старинку всю порушили новейшие рвачи-капиталисты – советская власть сносила с не меньшей охотой, только строила она медленно. Поэтому в квартале Дмитрича были и «нежилые» дома. Но мы-то знаем, что нежилых домов в городе не бывает. Жизнь продолжается в каждом доме, до тех пор, пока стены его не раздробит экскаватор и прах его окончательно не растопчет бульдозер. В квартирах с оборванными обоями остаются привидения и брошенные кошки, а потом на их место приходят бомжи и крысы. Эти существа, чемпионы городской выживаемости, конечно же, в немалом количестве населяли и якобы нежилые строения Дмитричева удела. И в их-то лице, в лице бомжей разумеется, умный дворник обрел искомый трудовой резерв.

А приручил он их гениально просто. В один прекрасный день Дмитрич обошел на своем участке все гнездилища лиц БОМЖ, свитые в пустующих квартирах, и навесил на их двери замки. Ключи от «квартир» он раздал самим же их обитателям, но с условием, что бомжи отныне должны нести трудовую повинность, то есть выполнять его, Дмитрича, дворницкую работу. Ключи от квартиры приятно иметь каждому, поэтому бомжи, за исключением немногих идейных, с радостью взяли за метлы.

Дальше – больше. Пожав первые плоды перспективного начинания, Дмитрич сделал тайное предложение своему руководству: он попросил поручить ему и его нелегальной трудовармии уборку всей руководству подведомственной территории. Остальных же дворников новатор предложил уволить за ненадобностью, а высвободившийся фонд зарплаты разделить по справедливости. Руководство, как вы понимаете, не долго думало.

И стал Дмитрич править в своей бомжевой колонии почти что на законных основаниях. Со временем жилтоварищество его пополнилось даже несколькими студентами – из малоимущих или особо жадных. Студенты работали лучше слабосильных бомжей, поэтому Дмитрич выделил для них что-то вроде ВИП-апартаментов в виде большой квартиры со стеклами в окнах, работающим электричеством и обогревателями системы «козел» в комнатах.

И именно в этой квартире мой приятель Феликс собирался поселить нас с Тamarой. Если, конечно, я глянусь Дмитричу.

– Видишь, – сказал он, – не даром, а за отработку.

– А харчи-то хоть будут? – усмехнулся я.

– Нет, – серьезно ответил Феликс. – Харчи свои.

Минуту-другую я еще размышлял. Батрачить вместе с бомжами мне, конечно, не улыбалось, но ведь я, по сути, и был теперь одним из них.

– Эх, где наша не пропадала! – хлопнул я себя по коленям. – Веди меня к своему работодателю.

И спустя недолгое время я беседовал уже с самим Дмитричем. Глянулся я ему или нет, этого прочитать по его непроницаемому лицу было невозможно. Но, наверное, все-таки глянулся, раз получил ключ от комнаты и даже комплект постельного белья со штампом какого-то медвытрезвителя.

– Вези свою бабу, обживайтесь, а завтра я покажу тебе, что да как и где твой участок, – и Дмитрич удостоил меня рукопожатием.

Так мы с Тamarой получили права гражданства в странном маленьком государстве неграждан. Да, конечно, государство было почти без удобств, недемократическое, не признанное де-юре и обреченное историей на снос. Но все же теперь, по прошествии десятилетий, я вспоминаю его с теплотой. Месяц, проведенный на нелегальном положении, составил в нашей жизни целую эпоху, и, поверьте, не худшую.

И месяц этот был декабрь. В те годы никто еще не слышал о глобальном потеплении; зимы в Москву приходили как положено – крепкие, морозные. Уже в декабре вся коммунальная армия вела оборонительные бои со снежной и ледяной стихией. И в числе этой армии были мы, партизаны Дмитрича. Безо всяких реагентов, с пешней и лопатой мы скребли и долбили московские тротуары не за харчи даже, а за один только ключик от комнаты. Мне, как бойцу с виду сознательному, командующий доверил ответственный участок фронта. Я чистил территорию вокруг таинственного объекта, который, как полагал Дмитрич, принадлежал Комитету гозбезопасности. А кому же еще могло принадлежать здание без вывески, ярко освещенное наружными фонарями, но всегда темное внутри?

– Долби хорошенько, особенно въезд, – наказывал мне мой шеф. – Не ровен час, нагрянет какой-нибудь генерал, а «чайка»-то его и забуксует. Прихлопнут тогда нашу лавочку.

Какой генерал, какая «чайка»? – близ моего объекта и пешего-то следа не видать было... Однако я долбил усердно – затем уже, чтобы не замерзнуть.

Холодно было очень. По ночам, укрывшись двумя пальто и завернувшись в простыни из вытрезвителя, мы с Томой согревались любовью. А едва мы затихали, как приходили крысы. Им тоже хотелось любви и тепла – вдохновленные нашим примером, они принимались бегать друг за дружкой – по полу, по столу, по всей комнатке, пища и стуча хвостами. Крысы правили свой бал до утра; они могли себе это позволить – им не надо было сдавать сессию и долбить лед.

А мне было надо. Повинуясь будильнику, а больше собственному невероятному усилию воли, я просыпался, тихонько высвобождался из Томиных сонных объятий и покидал наше пусть убогое, но все-таки негой дышащее супружеское ложе. Затем, усмиривши крысиную вакханалию, я вставлял ноги в безразмерные валенки, выданные мне Дмитричем, напяливал казенную телогрейку и, взяв на плечо свое ручное вооружение, еще глубоко затемно отправлялся снова расчищать проезд для несуществующего генерала.

Но Тамаре не спалось после моего ухода. Обнаружив мое отсутствие и осознав, что осталась одна с крысами, она уже не могла сомкнуть глаз. Прежде чем спустить ноги на пол, Тома долго хлопала в ладоши, чтобы распугать хвостатых чудовищ, обступавших кровать. Но «чудовища» боялись ее меньше, чем она их. Крысы лишь нехотя отступали в темные углы, откуда наблюдали за Томой, блестя глазками и посмеиваясь себе в усы. Она же, поминутно озираясь и дрожа от страха и холода, ставила на трехногую ржавую электроплитку ледяной чайник и, закутавшись в пальто, садилась ждать моего возвращения. Бедная, славная моя Тома! Не думаю, что таким представлялось ей семейное счастье. Но за весь месяц я не услышал от нее ни одной жалобы, и ни разу она не попросилась назад к маме.

Новый год мы отмечали в нашей же труппе, в большой необитаемой комнате. В роли хозяев выступали мы с Томой и наши соседи по квартире – два странноватых студента, не помню, каких вузов. Дмитрич от начальственных щедрот принес кривую лысоватую елку, которую мы воткнули в ведро с соленым комхозовским песком. А потом явился Феликс, уже пьяненький, с целой канистрой типографского ректификата. На запах спирта откуда-то стали подтягиваться бомжи и прочие обитатели «необитаемого» дома.

Ни до, ни после того случая не встречал я Новый год в столь зловонной и столь дружественной атмосфере. Стены «праздничной залы», отогретые нашим дыханием и двумя раскаленными «козлами», мироточили. Все мы расслабились, разомлели – и горе-студенты, и

бомжи, и вечно сторожкие, синие от наколок личности криминального типа. Даже Тома робко улыбалась, прижавшись к моему плечу.

Дмитрич оглядывал наше сборище невзыскующим отеческим взором. Мы были хороши для него, а он для нас, такие, какие есть. Была минута, когда мне показалось, что благодетель наш собирается запеть, и он запел бы, наверное, но взгляд его, как, бывало, взгляд Николая Степановича, наткнулся на меня. И тогда, передумав вдруг, Дмитрич потянулся ко мне со стаканом.

– Давай, сынок, что ли, чокнемся! – сказал он. – За Новый год и за вас. Все у вас будет ништяк – ты поверь старику.

И тогда бомж, сидевший поблизости, заявил, что у них с его Нинкой тоже все будет ништяк, потому что у них любовь и они поженятся.

– Правда, Нинка? – толкнул он свою соседку. А другие бомжи заржали, и все наперебой стали кричать, что скоро поженятся.

Застолье чем дальше, тем становилось более шумным, но мы недолго еще в нем участвовали. Не дожидаясь кульминации, Тамара увела меня в нашу комнатку, где я по своей «слабости к вину» сразу же упал на постель и заснул. А спустя некоторое время в дверь к нам постучался Феликс.

– Бомжи уже дерутся, – сообщил он и рухнул в кровать рядом со мной.

Тома же не смыкала глаз до утра, но не потому, что ей негде было спать, и даже не из-за крыс. Вернее, именно из-за крыс – оттого, что их этой ночью не было. Она думала, что, раз крысы исчезли, значит, быть беде.

Но все обошлось. Наши буйные соседи не успели поджечь дом или устроить поножовщину – типографский ректификат, спасибо ему, повалил их раньше. Новый год, слава богу, дворничье жилтоварищество встретило без ЧП, если не считать того, что снег на наших участках лежал неубранным целую неделю. А в конце этой недели, то есть, считай, под Рождество, к нам с Тамарой прибежал Дмитрич. Выглядел он сильно напуганным и говорил сбивчиво – со слов его можно было понять лишь то, что в комхоз приехал какой-то начальник и стучит кулаком по столу.

– Говори ты толком, – допытывался я, – что за начальник, почему стучит? Может быть, из-за того, что мы снег не убрали?

– Не знаю, что за начальник, но большой, – отвечал взволнованный Дмитрич. – А на снег ему насрать – он тебя требует.

Короче говоря, «начальником» этим оказался мой тесть Николай Степанович. Как уж, не знаю, он вычислил наше с Томой местонахождение и собственной персоной явился в комхоз. А стучал кулаком он потому, что, кроме как стучать кулаком, больше ничего не умел.

Тем же вечером за нами приехала черная, сверкающая молдингами казенная «волга». Дмитрич совсем расстроился.

– Знал бы я, что ты такая шишка, ни за что бы к себе не пустил, – сокрушался он. – Теперь вот отвечай за вас.

– Не волнуйся, Дмитрич, – утешил я его. – Я похлопочу, чтобы тебя не тронули.

Я сдал ему комнату, инвентарь, телогрейку с валенками и казенные простыни. Мы обнялись на прощание и больше уже никогда не виделись.

Зато я опять стал постоянно видеться с Николаем Степановичем. И надо сказать, что за то время, пока мы с Томой были в бегах, тесть мой существенно изменился. Наверное, много думал. В первый же вечер после нашего возвращения Николай Степанович вызвал меня на кухню для мужской беседы, чего прежде ни разу не делал. Когда он прикрыл за нами дверь и достал из шкапика водку, я понял, что разговор будет серьезный. Так и оказалось. Без орова, без наскока Николай Степанович объявил мне, что хотя я, конечно, подлец и мерзавец, но

теперь, когда он «убедился о том», как дура Томка ко мне не на шутку прилепилась, то он и сам хочет иметь со мной человеческие отношения.

– А как ты? – спросил Николай Степанович, заглядывая мне в лицо.

– Почему бы и нет, – пробормотал я растерянно.

– Вот и выпьем за это! – тесть налил нам обоим. – Свое говно с лопаты не сбросишь! А?

... – Он добродушно рассмеялся и добавил: – Только папой меня не называй.

Мы выпили в знак примирения, но это, как оказалось, было еще не все. Чтобы мы с Томой не бегали больше по бомжатникам, Николай Степанович пообещал устроить нас в квартирный кооператив. Эта новость меня действительно сразила.

– Спасибо... – пробормотал я, краснея. – Спасибо большое...

Смушение мое доставило Николаю Степановичу удовольствие.

– Чего уж там! – он похлопал меня по плечу. – Пользуйся, парень, раз так вышло. Смотри только, Томку не обижай и учись как следует. Закончишь институт, вступишь в партию, возьму тебя главным инженером. А?... Хочешь главным инженером?

Мы выпили с ним еще раз или два, обсуждая перспективы моей карьеры, а потом Николай Степанович посмотрел на часы и сказал вдруг заговорщицким тоном:

– А теперь давай за Рождество, только тихо.

С тех пор прошло уже очень много лет. Родителей Тамары больше нет на свете. К счастью, умерли они до того, как мы с ней развелись. Я пишу эти строки, сидя в той самой квартире, которую выбил нам и оплатил Томин папа, за что я до сих пор премного ему благодарен. Простите меня, Николай Степанович, я не сдержал своего слова никогда не обижать вашу дочь. И вы, Ирина Борисовна, простите меня за то, что я читал за столом.

Англичанка

Если бы человека из домобильной эпохи переместить в наше время, он очень бы удивился: что такое – горожане, через одного, ходят держась за голову. Словно только что состуканулись черепами, нагнувшись за чем-нибудь разом, или коллективно от кого-то схлопотали по уху. Мы, конечно, стали бы объяснять гостю из прошлого, что никто ни с кем у нас не состуканулся, а просто эти люди говорят по телефону. Но гость бы нам не поверил. «Во-первых, – возразил бы он, – с чего это полгороду понадобилось куда-то звонить? А во-вторых, где у них телефоны? У телефона должна быть трубка, в которую говорят, а они бормочут в никуда, в пространство». Домобильный человек решил бы, что москвичи помешались или впали в детство, и он оказался бы не совсем не прав. Вспомните – ведь многие из нас, да практически все мы, играя в песочнице со сверстниками, так же вот прикладывали к уху камушек или просто сжатый кулачок, делая вид, что говорим по телефону. Представляя себе свою взрослую будущность, мы ели воображаемую пищу, заключали воображаемые браки и нянчили воображаемых, в лучшем случае пластмассовых, младенцев.

Сегодня доказано исследованиями, что успехи информатики и бесконтактной связи продлевают нам детство. Хорошо это или плохо, исследователи, однако, сказать затрудняются. Но хочется думать, что хорошо, потому что в детском, воображаемом мире у нас гораздо больше возможностей, чем в реальном. «Больше до... процентов», – как выражаются рекламщики. Например, я в раннесадовском возрасте дружил с одной девочкой по имени Вера. Она была старше меня процентов на сорок и поэтому любила представлять, что я ее «сыночек», – может быть, готовила себя к роли матери-одиночки. Но роль сыночка мне не нравилась – сыночком я и так был у своей матери, а что за интерес играть самого себя? Я предпочитал быть Вериним мужем, и иногда мне все-таки удавалось склонить подружку к браку. Тогда мы с ней становились «папой и мамой» и вместе рожали куклу, которую Вера весьма убедительно доставала из-под подола. Вот какие ужасы творились в нашей песочнице, но это доказывает, что в детском мире нет ничего невозможного.

Однако в нашей взрослой жизни все пока что обстоит сложнее. Конечно, благодаря интернет-революции мы теперь можем продолжать играть хоть до старости и воображать себя... даже стыдно признаться кем. Впрочем, нет – нынче уже не стыдно. Но только воображать. Стоит нам попытаться воплотить свои фантазии в реальности, как мы сталкиваемся со множеством проблем. Общество еще не готово отказаться от привычных табу.

Я даже не имею в виду крайности и перверсии, их действительно следует оставлять в песочнице, и еще прикопать поглубже. Но вот сейчас, когда я заговорил о наших играх с девочкой Верой, мне вспомнилась чем-то созвучная, но более взрослая история, случившаяся с моим одноклассником Славиком Кораблиным. Он полюбил, и притом взаимно, нашу школьную учительницу английского.

И почему бы, собственно говоря, ему в нее не влюбиться? Я подозреваю, что не только Славик, но и многие из наших ребят тайно фантазировали на ее счет. А что нам оставалось делать? Девчонки у нас в классе подобрались одна страшней другой, Интернета с картинками тогда еще не было, а Майя Аркадьевна (так звали учительницу) была и вправду хороша.

Она была совсем не похожа на других училок английского, которые в наше время делились на две категории. Одни были толстые, пожилые, очень авторитетные, выучившие язык пятьдесят лет назад по граммофонным пластинкам; а другие – бледные, без возраста, без авторитета, но с красными дипломами иныаза. Толстые в классе налегали на дисциплину и, в общем-то, своего добивались, а бледные ходили к нам на уроки, как на расстрел, хотя почему – непонятно: мы не расстреляли ни одной. Никто не расстреливал бледных, но они все равно не

задерживались в нашей школе. Куда они уходили, бог их знает, но у нас была вечная проблема с англичанками, потому что толстых на всех не хватало.

Поэтому никто не удивился, когда однажды классная объявила, что у нас будет новая преподавательница английского. Удивились мы позже, когда эта самая преподавательница явилась к нам на урок. Она оказалась не толстой, не бледной, а очень даже привлекательной молодой женщиной. Мы сначала даже подумали, что это какая-нибудь очередная директорская фифа-секретарша перепутала двери. Но все стало ясно, когда фифа приветствовала нас по-английски:

– Хеллоу, френдз! Май нейм из Майя Аркадьевна.

– Моя Аркадьевна! – сострил было какой-то клоун, но тут же получил подзатыльник от Семенова.

Вообще-то, Семенов был сам хулиган; все мы, мальчишки, были хулиганы в той или иной степени, но красота Майи Аркадьевны произвела на нас облагораживающее действие. Не красота даже, а такая, знаете ли, романтическая женственность – мы сразу ее почувствовали.

Красного диплома у новой преподавательницы не было, как не было и особенных педагогических способностей. Я не скажу, что с приходом Майи Аркадьевны наши успехи в английском сильно возросли, но уроки ее мы полюбили. Для нас это были уроки прекрасного – она пела нам про префиксы, а мы просто слушали ее голос, смотрели, как складываются ее губы, любовались природой даденной естественной грацией движений. Даже девочки, наши бедные некрасивые девочки, ели Майю Аркадьевну завистливо-восхищенными глазами. Словом, не знаю, как в других классах, а у нас в 10-м «В» сложился настоящий культ прекрасной англичанки. Думаю, сама она о чем-то таком догадывалась и в пределах разумного употребляла свои чары для пользы дела. И все было замечательно: мы на уроках Майи Аркадьевны сидели как шелковые, а она в благодарность за хорошее поведение ставила нам приличные отметки. Девочки наши старались подражать англичанке в манерах и даже в одежде, а мальчишки, как я уже сказал, предавались по ее поводу фантазиям. Но – тайным.

Но – не все. Один из нас, а именно Славик Кораблин, оказался смелее остальных или безумнее – как кому покажется. А может быть, фантазии переполнили его сверх краев, и он решил ими, так сказать, поделиться. Короче говоря, Славик объяснился Майе Аркадьевне в любви. Когда и как, письменно он объяснялся или устно, осталось нам неизвестным. Трудно было вообще поверить, что он мог это сделать. В классе Кораблин отнюдь не пользовался репутацией похитителя девичьих сердец; он даже не был акселератом. Выглядел он как типичный тайный фантазер – интеллигентный, задумчивый. Это потом уже, когда все открылось, наши девочки стали находить его симпатичным.

Тем не менее факт остается фактом: Славик признался училке в любви. Конечно же, он был деликатно отвергнут... и, конечно же, признался снова. В результате неизвестно скольких признаний, сделанных неизвестно в какой форме, сердце англичанки дрогнуло. Иначе как объяснить, что вместо того, чтобы отчитать мальчика со всей строгостью, вызвать в школу его родителей и вынести вопрос на педсовет, Майя Аркадьевна пустилась с ним в «воспитательные» беседы? Целью этих внеклассных секретных бесед она, разумеется, положила отучить Славика от его пагубного к ней влечения, и привели они, разумеется, к тому, что воспитательница и воспитуемый сделались любовниками.

Я не знаю, как в нынешних школах, а в домобильные времена это считалась редким и нетипичным явлением. Такое событие, как половая связь преподавателя с учеником, получало резко негативную оценку и должный отпор со стороны родительской и педагогической общественности – если, конечно, всплывало на поверхность. А у нас явление всплыло, потому что Славик и Майя Аркадьевна конспираторами оказались никудышными. Застукала их общественность с поличным или вычислила состав преступления по совокупности косвенных улик – этого я не помню. Помню только, что скандал разразился по всей форме: были и вызовы в

школу Славиных родителей, и педсоветы, и даже комсомольские собрания. Только побития камнями не было, но это потому, что школе позарез нужна была живая преподавательница английского. Однако и с собраниями общественность, похоже, перегнула, потому что, имея свою гордость, Майя Аркадьевна все равно уволилась и куда-то уехала.

Славик в процессе унижительных разбирательств тоже был оскорблен – не столько за себя, сколько за любимую. А когда она исчезла, не оставив адреса, он по-настоящему затосковал. Думая о Майе, он горевал мучительно-сладко, хотя сладость муки не компенсировала. Но потом боль утраты притупилась. Школу Кораблин окончил с «неудом» по поведению, однако в целом вполне прилично.

Тем не менее, согласитесь, все это довольно грустно. Вот что бывает, вернее, бывало в домотильные времена, если кто-то давал волю своим фантазиям. Но я должен сказать, что это еще не конец истории – в прямом и в переносном смысле. С тех пор, конечно, прошло много лет; все мы, славики, толики, вовики, разлетелись по жизни и потеряли друг друга. Но потеряться – это еще не значит перестать существовать. Вот что случилось недавно на одной художественной выставке. (Замечу к слову, что я люблю ходить на художественные выставки. Изобразительное искусство, за исключением некоторых его остросовременных форм, хорошо уже тем, что оно безмолвно.)

Да, так вот что случилось. Недавно я бродил по некоей консервативно-художественной выставке. Было тихо – то ли даже мобильники смолкли при встрече с прекрасным, то ли я вообще был в зале один. Я переходил от стенда к стенду, наслаждался чужим искусством, размышляя о своем... И тут вдруг мое внимание привлек небольшой женский портрет. Я взгляделся... и не поверил своим глазам: с холста на меня смотрела англичанка Майя Аркадьевна! Фамилия художника мне ничего не говорила; возраст модели – поди разбери. Но это была она, без всякого сомнения. Я попятился к стоявшей неподалеку банкетке, нащупал ее задом, сел и глубоко задумался.

О чем я думал – трудно сказать, но тут рядом появились новые посетители. Первым был мужчина моего возраста, лысоватый, интеллигентный. Он, как и я, уставился на портрет... потом охнул, схватился за сердце и пошатнулся. Наверное, он бы тоже с удовольствием присел, но банкетка уже была занята мной. А следом за мужчиной – теперь уж вы мне не поверите! – следом за ним возникла она – Майя Аркадьевна. Правда, шла она не одна, а об руку с каким-то господином, но это неважно. Должен сказать, что выглядела бывшая англичанка бесподобно. Лысоватый перевел глаза с портрета на оригинал и... но тут перо мое бессильно. Вот именно такие сцены лучше всего удавались не писателям, а живописцам старой школы.

– Здравствуйте, – пролепетал лысоватый, – вы меня не узнаете?

– Простите? – подняла она брови.

– Нет, ничего... – стусевался он.

Майя Аркадьевна с представительным спутником постояли немного у ее портрета и удалились, а он все продолжал топтаться с потерянным видом. Мне было жаль лысоватого и хотелось уступить банкетку, но я боялся обидеть его этим предложением и к тому же не горел желанием себя обнаружить. Вообще-то, мне надо было тихо встать и уйти, но, признаюсь, я любопытен в той же мере, что и скромн, и люблю уходить последним. Мне почему-то казалось, что пьеска будет иметь продолжение, и я не ошибся.

Минут через десять в тишине зала послышался торопливый стук женских каблучков – это вернулась Майя Аркадьевна. Она быстро подошла к лысоватому и сунула ему в руку клочок бумаги. Он трясущейся рукой протянул ей визитку, которую она немедленно спрятала в сумочку. Я понял, что они таким образом обменялись телефонами. После чего произошел обмен взглядами, глубину которых мне опять-таки не передать. Вся сцена длилась минут-другую. Потом Майя Аркадьевна вдруг вспыхнула, отвернулась и, как-то неуверенно взмахнув рукой, пошла, почти побежала прочь.

Дробь каблучков стихла. Лысоватый, поборов волнение, достал из внутреннего кармана пиджака очки. Посадив их на нос, он из другого кармана выудил бумажку, что дала ему Майя Аркадьевна, и внимательно ее прочел. Затем он убрал бумажку назад в карман и, прикрыв глаза, беззвучно зашевелил губами, видимо повторяя про себя номер телефона. Потом он снова вытащил бумажку, чтобы себя проверить...

Тут мне надоело за ним подсматривать. К тому же в моем собственном внутреннем кармане, слева, у сердца, я ощутил знакомую вибрацию. Знаю, знаю – разговаривать по мобильному на художественных выставках, равно как в театре и на похоронах, неприлично. Но это звонила моя Тамара. Еще накануне мы с ней договорились о свидании – именно на этой выставке, иначе что бы я тут делал.

Тома звонила сказать, что задерживается, и просила подождать. Я вздохнул и вернулся мыслями к Майе Аркадьевне и Славiku Кораблину. После того как они совершенно случайно встретились на художественной выставке, их взаимное чувство возродилось. И опять отношения между ними оказались за гранью общественно-дозволенных. Ведь Майя Аркадьевна давно была замужем за членом Союза художников – тем самым господином, которого я видел с ней об руку. Да и Славик тоже был на ком-то женат. К счастью, годы, что минули между двумя их встречами, годы, которые унесли их молодость, оставили им и всему человечеству кое-что взамен. Я имею в виду мобильную связь и электронную почту. Теперь Майя Аркадьевна и Славик Кораблин сносятся через Интернет, встречаются украдкой на художественных выставках, и никто в целом мире не знает про их роман.

Вот что на моих глазах случилось на выставке современного искусства. А может быть, и не случилось, померещилось. Со мной такое бывает, да и с вами, наверное, если вы мой ровесник. Любим мы фантазировать; все надеемся, что что-то необыкновенное с нами может еще приключиться, а на самом деле все давно решено, и нам остается просто доживать, вспоминая былое и старея под музыку своих воспоминаний.

Кавказская кухня

– Ну и как тебе?

– Что – как? – я делаю вид, что не понимаю.

– Ты не прикидывайся, – шурится Дмитрий Павлович. – Я говорю о Мэри.

– Мэри? – пожимаю я плечами. – Что ж, хороша Мэри... Только очень уж на ней много золота.

– Да, они это любят, – усмехается он. – Только я тебя не про то спрашиваю.

– А не про то – не знаю.

Мы замолкаем, погрузившись каждый в свои мысли. Из кухни доносится погромыхивание посуды; женщины там наверняка тоже шушукаются. «Как он тебе?» – спрашивает Тома. «А он что, правда писатель?» – вопросом на вопрос отвечает Мэри.

Мэри Керимовна – их соседка. Дмитрий Павлович с Тамарой специально устроили ужин, чтобы нас познакомить. Впрочем, думаю, Тамара здесь постольку-поскольку, а инициатором был он. Дмитрий Павлович почувал, видимо, что в последнее время наши с Томой отношения подозрительно теплеют, и решил вывести меня из игры. Все последние наши разговоры он сводил к тому, что пора-де мне решать наконец женский вопрос, а женский вопрос Дмитрий Павлович почему-то сводил к соседке Мэри. И при этом так ее расхваливал, что могло показаться, будто он сам к ней равнодушен.

Ну да теперь я убедился воочию: Мэри Керимовна – женщина немалых достоинств, как телесных, так и всяческих других. Сегодняшний наш ужин был ее кулинарный бенефис и состоял из блюд Кавказа, уроженкой которого она является. Все было очень вкусно, но только теперь я чувствую себя, как огнеглотатель после выступления.

– А по образованию она театровед... – словно про себя, говорит Дмитрий Павлович.

– Ты опять за свое...

– Нет, а бюст! Ты видал, какой бюст?

Это начинает меня раздражать – женился бы на ней сам, раз такой бюст. А мне бы вернул мою Тамару. Впрочем, вслух я поддакиваю:

– Да, интересная женщина. Только золота на ней много.

– Это правда, – соглашается Дмитрий Павлович. – Золото, цацки – они это любят. Но по образованию-то она театровед...

– И что же?

– А то, что культурный запрос имеется. Она, между прочим, из-за этого запроса от мужа ушла. Знаешь, кто был ее муж? Известнейший на Москве ортодонт!

– Да ну!

– Вот тебе и ну. Только он тоже из этих, из диаспоры, а стало быть, сам понимаешь, деспот. А баба – театровед, у нее запросы. Вот она от него и эмансипировалась.

– Молодец... Но как же она теперь золото добывает?

– А он, все он. И квартиру эту он ей купил. Они своих баб не бросают, чисто Восток. Он ей материальные запросы обеспечивает, а культурные она сама.

– Занятно, занятно... – бормочу я себе под нос. – Значит, они в полуразводе, вроде нас с Томой...

– Что ты сказал? – Дмитрий Павлович не расслышал.

– Да нет, ничего... Так какие, ты говоришь, у нее культурные запросы?

Он открывает рот, чтобы ответить или уйти от ответа на мой вопрос, но в эту минуту в комнату входят женщины.

– Вот они сидят, наши зайчики! – поет Мэри Керимовна. – А мы вам кофе несем.

«Зайчики»! Немного нейдет нам с Дмитрием Павловичем, но это, как я уже понял, ее стиль. Дело известное – женщина гонит обаяние. Настолько уверена в своей неотразимости, что все у нее зайчики. Интересно, кто ей так поднял самооценку, уж не ортодонт ли?

А кофе хороший – явно не Тома варила. И разговор за кофе у нас приятный, интеллигентный. Мэри Керимовна (чувствуется, что театровед) свободно говорит на культурные темы, особенно о шоу-бизнесе. Однако все хорошо в меру – Дмитрий Павлович уже два раза зевнул. Думаю, нам всем пора закругляться.

Вот и прощание.

– До свидания, моя лялочка! – Мэри Керимовна обцеловывает Тамару.

– До скорого, котик! – это она подставляет щеку Дмитрию Павловичу.

– Почитаю, непременно вас почитаю! – это мне.

«Врешь», – думаю я.

Домой я, как всегда, еду от них на такси, на которое Дмитрий Павлович, тоже как всегда, сунул мне в карман полтыщи. Он не знает (откуда ему знать!), что от их дома до моего таксисты берут не меньше шестисот пятидесяти. На душе у меня невесело, но не только при мысли о полутора сотнях, которые мне предстоит выложить из своего кармана. В ушах моих до сих пор звенит золото, а во рту пылает Кавказ.

«Почитаю», – сказала она мне. Как бы не так!

Вот она приходит домой – уже пришла, потому что идти ей до квартиры, купленной на ортодонтовы деньги, два шага. Пришла, поснимала серьги, кулоны, перстни и стоит, разглядывая себя в зеркале. Я был не прав, думая, что она в таком уж от себя восторге. Слов нет, бюст у нее и впрямь роскошный – про эту деталь читатель слышал уже от Дмитрия Павловича. Попа тоже ничего, хотя раньше была лучше. Но вот ниже... Правда, зеркало показывает Мэри по пояс, но она знает. Знает женщина, что ножки у нее подгуляли, потому и вздыхает. Нет, не может человек быть сплошным совершенством, особенно если человеку давно уже за сорок. Вон и морщинки на лбу...

Неторопливо и обстоятельно совершаются процедуры, положенные перед отходом ко сну. Снявши макияж, она опять взглядывает на себя в зеркало. Лучше не стало... Зеркало сообщает не самые приятные известия, но на душе у Мэри Керимовны невесело не только и не столько поэтому. Главное, что ей не понравился сегодняшней писатель. Она ведь не дура и знает, зачем был устроен этот ужин. А писатель, как бы выразиться... оказался какой-то высокомерный мямля. Ясно ничего не говорит, а похоже, будто пошутить хочет и пошутить будто на ее счет. Хорошо, что Мэри не так воспитана, а то бы она тоже вставила ему словцо.

– Не шитала и шитая не вуду! – итожит она вслух, двигая во рту зубной щеткой.

Но мысль ее бежит дальше. То ли дело вот Дмитрий Павлович... Дмитрий Павлович – зайчик. Правда, у него Тамара... Тамара тоже – ее не поймешь. Говорит, у них с этим мямлей была безумная любовь. Так чего ж она от него ушла? Зачем ей Дмитрий Павлович? Да и он-то что в ней нашел? Готовить она не умеет... Вопросы, вопросы... В следующий раз, если позовет, сделаю ему долму.

Идея с долмой приходит к Мэри Керимовне уже в постели. С нею она и засыпает. Я тем временем уже на подъезде.

– Здесь налево, потом опять налево, – говорю я таксисту.

– Знаю, дарагой! – отвечает он с достоинством. – Это мой хлэб.

Еще бы не хлэб – шесть с половиной сотен! У таксиста акцент и характерный нос. Кавказский выдался вечерок...

Расстаемся мы при свете тусклой кабинной лампочки:

– Удачи тэбэ...

Спасибо, приятель, только какая моя удача? Поздно уже... Вот кабы я был на твоём месте, тогда – да, тогда бы удача мне понадобилась. Впереди у меня была бы целая ночь, боль-

шая кипучая московская ночь, сулящая хорошую таксистскую поживу. Высадив меня, то есть избавившись от мямли, я поехал бы... куда бы я поехал? А, например, к вокзалу.

Вокзал – это риск для бомбилы; вокзал – это мафия. Но зато и седок здесь сговорчивый. Приезжий человек, он наших расценок не знает, но добрые люди, конечно же, говорили ему, что таксисты в Москве дерут неимоверно. Правильно говорили – сдору.

– Вам куда, уважаемый?

– Мне? Я не знаю... Вот тут, в бумажке, написано.

– Что ж, понятно. Отвезем в лучшем виде. Вы, товарищ, расслабьтесь, закуривайте – у меня это можно. Все худшее для вас позади. Вам повезло, что вы попали на меня, – сейчас, знаете, в Москве кавказцы таксуют. Города не знают, а туда же... Кстати, как вам наш городишко, давно у нас были?

Седок растерянно смотрит в окошко:

– Не узнать...

Да, меняется столица. Москва хлебосольная, сусально-златоглавая – где она? Где краснокаменная, кремлевско-мавзолейная, прочная, как заставка советского ТВ?

Нынче ваш брат провинциал Москву не жалуется. Один тут доказывал мне, что она, дескать, соки пьет из России-матушки. Дуется, мол, на ее белом теле, наподобие огромного клеща, – и когда только лопнет. Пусть так, спорить не буду. Только задумывались ли вы, товарищи из глубинки, что клещ этот или кто там прирастает именно вами? Вы сами сюда, как говорится, прете, вот в чем проблема. Московские крутые деляги – это ведь бывшие вы. И наш, извиняюсь за выражение, бомонд, перетекающий с одного культурного мероприятия на другое, – тоже вы на две трети. Кто ищет здесь барахолку, кто – ярмарку интеллигентского тщеславия, а результат один: столица толстеет и впрямь, того гляди, лопнет. Спасибо жуликам да лохотронщикам разным – они только и спускают Москве жирок.

А иноземцы! Теперь их в городе пропасть. Вон, к примеру, мадам голосует – руку подняла, а на пальцах бриллианты горят, как катафоты. Явная же... Ах, нет, извините, это свои.

– Какой сюрприз, Мэри Керимовна! Куда это вы собрались на ночь глядя? По моим сведениям, вы в данный момент спите.

– Это вы так решили, что я сплю, а у меня культурные запросы.

– Прошу прощения. Но скажите, вам разве не страшно – ночью и вся в золоте?

– С какой стати мне бояться? У меня муж известнейший ортодонт.

– Вот даже как... В таком случае с вас шестьсот пятьдесят.

Нет, пожалуй, она не похожа на клеща (это я опять про Москву). И ни на что она не похожа – одно сплошное мелькание. Армяне-азербайджанцы, арбаты, альфыромео, амбалы, авторы, апельсины, ананасы, адвокаты, авокадо... Свернешь на букву Б, а там бутики, бродячие барбосы, бмв, бентли, бомжи, брюлики, бляди, баксы, бабки в ботах, бомбилы, безумцы, богатенькие бамбуки, бандиты, ботаны, бульвары, быстро, беспокойство, бред... Может быть, Москва – это такая условность, вроде баржи, которую мы в детстве грузили существительными? И грузим, и грузим до сих пор, не задумываясь о том, что баржа уже давно легла брюхом на дно.

Мне кажется, образ Москвы существует только в головах провинциалов. Это как, скажем, с китом – у того тоже есть образ, пока смотришь на него снаружи, а когда он тебя проглотит и ты окажешься у него в желудке, образ пропадет.

Москва без лица, но коварна. Зазеваешься, а она подкрадется, дунет в ухо да и расхохочется. У тебя от неожиданности метель в башке сделалась, ум с разумом перепутались, а ей и любо. Шибко Москва путать любит! Вы, к примеру, не пробовали ездить в ней по карте? В плане-то все понятно: площадь такая-то, улица такая-то – сопрягаются. А окажись ты на этой площади – и погиб: где улица, где сопряжение?... Только хохот Москвы вокруг.

Но вы не волнуйтесь, я-то столицу знаю – знаю не хуже, чем Штирлиц знал Берлин. Это мой брат. Так что гоните шестьсот пятьдесят, уважаемый нерезидент, и удачи вам. Хотя я считаю, что вам и так повезло – ведь вы приехали в Москву ночью. То, что вы видели, все это кипенье огней, людей и машин, был только сон ее. Но скоро уже начнет она просыпаться, и тогда нам с вами станет не до бак. Сотрясутся основы, разверзнутся трюмы, и все существительные разом, от А до Я, хлынут наверх, чтобы сопрячься с глаголами.

Впрочем, это уже без меня. Я, ночной любимец удачи, при первых проблесках зари гоню коня своего в стойло. Мой бардачок полон сотенных, и теперь у меня одно стремление – домой.

Москва, спохватившись, расставляет на моем пути пробки, но ей меня не поймать. Я ныряю в проходные дворы, я ловок, как Штирлиц, и я успею – успею до того, как проснется моя Тамара. А дома, приняв душ, я своим телом разбужу ее, и она улыбнется мне сквозь сон:

– Набомбил?

– Набомбил.

– Умница! – Тома обнимет меня ногами: – Добытчик ты мой – не какой-нибудь мямля...

А мне, представляешь, приснилось, что ты писатель и сидишь на моей шее.

Собачья площадка

Я человек в гражданском отношении смирный, не скандалист, не завзятый пикетчик, но сегодня я не могу молчать. Если б я знал, как пишутся жалобы и в какие инстанции подаются, то, честное слово, сел бы и написал. К сожалению, из всех институтов власти я знаком лишь с конторой нашего домового управления, расположенной в соседнем подъезде, да и писать не умею ничего, кроме книжек. Единственная инстанция, куда я знаю, как обратиться, – это вечность, ведомство, увы, крайне неторопливое. До сих пор оно только регистрировало мои обращения, но ни одного не рассмотрело по существу.

И все же примите заявление. Я обличаю власти, а точнее, нашу районную управу в том, что они, она снесла в моем дворе собачью площадку. Да, я понимаю, против кого возвышаю свой голос; да, меня пугает само это слово – «управа». Но ведь я не одинок. Пострадавших, кроме нас с Филом, наберется, уверен, не одна сотня. Если даже за единицу счета брать пса вместе с хозяином (по-чиновничьи – человекособаку), то все равно получается много. Но, видимо, в этом и беда. Долгое время управа не считала нас вообще никак, а занималась более важными делами, полагая, что собачьего вопроса в нашем квартале не существует. И вдруг какой-то член ее, посмотревши утром в окно собственной кухни, обнаружил совершенно недопустимую картину. На площадке, предназначенной для дефекации собак, оказалось этих собак такое множество, что даже тому, чему предназначено, упасть было просто негде. А вовне площадки роились тоже собаки с хозяевами и вступали в конфликты с теми, которые внутри, потому что те, что внутри, позапирали от них калитки.

И впечатленный член управы созвал совещание, на котором поставил ребром вопрос о недопустимой тесноте на собачьей площадке. Разумеется, вины за создавшееся положение ни он, ни сочлены его за собой не усмотрели, потому что нынешняя управа площадку не учредила, а учреждал предшествовавший ей орган власти, называвшийся как-то по-другому. И у членов состоялся мозговой штурм, который привел к парадоксальному, на мой взгляд, результату. В целях выравнивания социальных возможностей и недопущения в дальнейшем конфликтных ситуаций вокруг собачьей площадки управа постановила ограждение объекта ликвидировать, а гражданам с компаньонами нечеловеческого происхождения впредь отправлять естественные надобности в свободном режиме.

Источник, близкий к управе, прокомментировал это революционное решение так:

– Пусть срут где хотят, зато без обид.

Сказано – сделано. Для полной социальной справедливости, разумеется, вместе с оградой из земли выдрали и лавочки, и урны, в которые наиболее сознательные хозяева собирали экскременты своих и чужих питомцев, и бум, по которому эти питомцы, наиболее сознательные из них, ходили.

Трудно описать уныние, охватившее наше человекособачье сообщество. Утешением нам служит лишь то, что ликвидации подверглась площадка, а не мы сами – с управы бы и такое случилось. Но у меня, как писателя, здесь есть еще личная причина для огорчения. Дело в том, что я вынашивал замысел небольшого произведения, в котором наша собачья площадка стала бы основным местом действия. Увы, прежде чем замысел мой осуществился, случилось то, что случилось, и теперь я могу доложить всем, кому это интересно, что произведения не будет.

Хотя надо сказать, что после того, как собачья площадка перестала фигурировать в списке муниципальных объектов, она никуда не исчезла и худо-бедно продолжает служить в прежнем качестве. Мы не научились еще оправляться в свободном режиме, а продолжаем ходить на старое место и топчемся там, внутри несуществующей ограды. Собаки, разбежавшись, тормозят вдруг у невидимой черты и оборачивают к хозяевам непонимающие мордочки. Ах, если бы хозяева знали сами...

Печальная судьба собачьей площадки наводит на размышления. Возникает вопрос: не ждет ли подобная участь и весь наш перенаселенный город? Коли так, то авторам следует поспешить с произведениями о Москве.

И сигналы уже поступают. Столичные медиа, например, обсуждают какие-то планы ликвидации административной границы Москвы и объединения ее с областью. Что ж, если такое произойдет, тогда ждите – тогда-то оно и начнется, выравнивание. Кое-кто видит в мечтах, что столица сбросит оковы МКАД и, расправив плечи, шагнет в окрестности, попирая многоэтажной стройной ножкой убогие лачуги земледельцев... Как бы не так! Это, наоборот, область вторгнется в московские пределы и раздавит своей заскорузлой крестьянской пятой все, что нам, горожанам, дорого. Прощай, цивилизация, прощайте, Армани и Гуччи, бульвары и скверы. Чистота и культура быта останутся в прошлом, из дворов исчезнут собачьи площадки, а на их месте будут расти морковь и картофель.

Крестьянский ген агрессивен, и велика его ползучая сила. Вы посмотрите, что делается даже сейчас, до всякого объединения. В моем микрорайоне еще ничего, но дальше, на окраинах, там, где нет ни бомжей, ни яппи и где люди ходят в магазин в шлепанцах, – там, на мой взгляд, творится уже форменная деревня. Бабки сажают в палисадниках петрушку, на лоджиях у граждан живут куры, а в гаражах порой можно встретить лошадь.

Силен растительный ген! Даже сейчас в моем дворе неутомимые таджики-дворники не успевают сбривать траву – это ее-то, битую тысячью подошв, травленную смогом. Что же будет, когда интервенты из области принесут на своих сапогах свежие, дикие семена и споры? Мы просто потеряемся в бурьяне, вьюн оплетет наши ноги, и легкие наши захлебнутся кислородом.

Мы, бледные жители этажей, возвращенные гидропоническим способом, проиграем в борьбе за выживание существам, черпающим силу в земле. Мы уйдем, и с нами вместе уйдут в небытие искусство и фундаментальная наука.

Такая вот наша перспектива. Но интересный вопрос: что же будет после нас – как поведут себя в Москве ее новые хозяева? Из истории прошлых веков мы знаем, что варвары, взявшие какой-либо город, всегда оказывались перед дилеммой: либо сжечь его и уйти с добычей, либо остаться в нем жить. Поступали и так, и этак. Но фокус в том, что из современного города, каковым является Москва, унести ничего нельзя – просто не имеет смысла. Все, что в нем есть ценного, все эти цивилизационные штучки имеют цену и силу только в его пределах, в его, так сказать, энергетическом поле. А в области, там, где находятся варварские стойбища, даже FM не ловится. Вот и получается, что выбора у захватчиков не будет – придется им обжиться на асфальте. Конечно, асфальт московский они загадят, заплюют семечками, но перекопать его под грядки – это им шиш; не удастся. Кроме того, им надо будет привыкать к существованию в больших скоплениях, а это ох как непросто для уездных дикарей. Ведь у них, несмотря на всю их генную мощь, нет того, что имеется у нас, – внешнего скелета, панциря, защищающего от соударений с себе подобными. В Москве им придется научиться многому – например, делать равнодушное лицо при виде случайного трупа в метро, не ахать при виде целующихся в засос мужчин и, наоборот, вскрикивать, когда положено, «вау!».

И еще. Я должен предупредить особо всех нынешних и будущих покорительниц столицы. Если вы надеетесь стать сперва полноправной москвичкой, а уже после обрести семейное счастье, выбросьте эту идею из головы. Москвичи друг на друга не женятся. Ловить в Москве жениха полагается сразу по приезде, пока вы еще не что иное, как племенной материал из провинции. Либо надо поставить на мечтах о браке, да и просто о хорошем мужчине, жирный крест. Карьерные дамы, сделавшие, как они любят выражаться, себя сами, сами себя, извините за грубость, и удовлетворяют. Я не знаю, почему так получается, но это закономерность, о которой вам следует помнить.

Чтобы не показаться голословным, приведу в пример свою племянницу Лариску.

Вот типичнейший образец селф-мейд-вумен с незадавшейся личной жизнью. Лет десять назад она объявилась у нас в Москве – молодая, спелая, щечки-яблочки. Тамара как увидела ее, так прямо и сказала:

– Тебе, девушка, замуж в самый раз.

Но Лариска только фыркнула:

– Глупости; замуж бы я и у себя в Васькове вышла. Я в Москву не за тем приехала.

– А зачем же ты, милая, приехала? – поинтересовался я.

– А бизнес делать, – ответила Лариска невозмутимо. – Вот заработаю денег, куплю здесь квартиру, тогда и мужа себе подберу.

Мы с Тамарой, улыбнувшись, переглянулись и пригласили гостью к чаю. Чай Лариска пила, немилосердно хлюпая. Тамара смотрела на нее, смотрела, а потом, не выдержав, спросила:

– И каким же ты, Ларочка, собралась заниматься бизнесом?

Хлюпанье прервалось:

– А все равно каким. Знающие люди говорят что в Москве деньги прямо на асфальте валяются, а вам, москвичам, просто лень их поднять.

Сразу после чая, не дожидаясь еще последнюю конфету, Лариска встала из-за стола.

– Ну, я побежала, – сказала она, – а то, говорят, время – деньги.

– Ну беги, – кивнул я, – подбирай с асфальта.

Этот визит племянницы был всего лишь данью родственной вежливости. Мы с Тамарой, очевидно, не показались Лариске знающими, а стало быть, полезными людьми, поэтому в течение следующих нескольких лет она у нас не показывалась. Однако разными окольными путями до меня доходили удивительные сведения, что Лариска будто бы и вправду сделалась бизнесменшей. Как ей это удалось и что у нее за бизнес – это мои источники (в основном васьковские) пояснить затруднялись. «Черт ее разберет, – пожимали плечами источники. – То ли сотовые телефоны из Китая возит, то ли янтарь из Прибалтики. Купи-продай, в общем».

С годами Ларискин бизнес многократно расширился и окреп. У Лариски появились своя зарегистрированная фирма, офис, арендованный в каком-то деловом центре, и несколько штатных сотрудников – все как один благодарные земляки-васьковцы. До сих пор, правда, осталось загадкой, чем фирма занималась; ну да это не нашего ума дело. Мало ли в Москве таких фирм, и сказ мой не о том. Предположим, что подбирала с асфальта деньги. Разумеется, обзавелась Лариска и московской квартирой – хоть я и не был приглашен на новоселье, но слышал об этом от источников.

Но вот в том, что она ездила на шикарной машине, я уже мог убедиться лично. Я увидел эту машину собственными глазами, когда Лариска приехала на ней ко мне в гости. Я тогда очень удивился – не машине, конечно, а самому факту Ларискиного визита, второго за несколько лет. Впрочем, возможно, визит этот был неожиданностью и для самой Лариски. Дело в том, что она в тот момент находилась в состоянии стресса, а женщины в таком состоянии, даже деловые и московские, склонны действовать импульсивно. Именно когда с ними случается стресс, тогда они и вспоминают, что у них есть дядя.

Скрывать не стану – годы и город потрудились над Ларискиной внешностью. В прошлом остались щечки-яблочки; теперь это была решительная, напомаженная стопроцентная бизнесвумен, женщина, которая не упадет ни с каких каблучков. От меня, однако, не укрылось, что пребывает она в растрепанных чувствах.

– Я к тебе просто так, – объявила она. – Ты у меня единственный близкий человек в Москве.

Вот тебе раз! Близкими людьми мы с Лариской отродясь не бывали, но от этих ее слов я не мог не растаять.

– Конечно, конечно... – засуетился я. – Проходи, посидим. Тамары вот только нет... к сожалению.

– Где же она? – усмехнулась Лариска.

– Ушла. Мы с ней, понимаешь ли, развелись.

При этом известии гостя неожиданно повеселела.

– Надо же! – воскликнула она. – Вот приехала к тебе, и сразу на душе полегчало. Значит, и у вас все как у людей.

Из деликатности я не стал с ходу выпрашивать, что тяготит ее душу; к тому же я догадывался, что скоро она сама мне все выболтает. Так оно и вышло. С собой у Лариски оказалась бутылка «Хеннеси» и два больших помело. Не успели мы с ней выпить полбутылки и растерзать один фрукт, а я уже был в курсе Ларискиных печальных обстоятельств, и в частности того, которое привело ее ко мне.

Выяснилось, что все беды моей племянницы лежали в сердечной плоскости. Меня, как потенциального советчика, это вполне устраивало, потому что в вопросах бизнеса от меня было бы мало толку. Сводились же Ларискины проблемы к тому, что, несмотря на ее успешность, ей никак не везло по мужской части. Лариске не везло с мужчинами, которые назывались у нее почему-то «бойфрендами», но которые вели себя как сущие мужики. Всякий, кого она пригревала в своей новокупленной и очень недешевой квартире, вскоре начинал расхаживать по дому в трусах, мусорить и чуть ли не испускать без стеснения газы. А поставить этих бойфрендов на место было невозможно, потому что при первом же проявлении неудовольствия с Ларискиной стороны они собирали манатки и бывали таковы. Последний же из них, которому я обязан был «Хеннеси», тот напоследок и вовсе обозвал Лариску дурой, что нельзя было расценить иначе как оскорбление.

В принципе Ларискина ситуация показалась мне заурядной и довольно типичной, но, как близкий человек, пьющий притом ее «Хеннеси», я счел своим долгом выразить ей сочувствие.

– Такая интересная женщина, – заметил я, – и так тебя обозвать... Кстати, он кто – этот твой бойфренд?

– По работе? – она махнула рукой. – Поставщик, кто же еще.

– Нет, я спрашиваю: он москвич?

Лариска кивнула:

– Москвич, конечно. У меня все поставщики московские.

– Вот, Ларочка! – я поднял палец. – Теперь ты меня послушай, я в этих вещах разбираюсь.

С москвичом ты никогда не сойдешься.

Она вскинула брови:

– Это еще почему?

– Потому... потому, что между москвичами существует взаимное отталкивание. В общем, это сложно объяснить, но ты мне поверь.

Лариска задумчиво хлебнула коньяку.

– И что же мне делать? У меня все поставщики местные...

Мне стало ее жалко.

– Даже не знаю, что тебе посоветовать... – сокрушенно покачал я головой. – Например, ты можешь поплакать.

Но плакать Лариска из гордости отказалась.

– Москва слезам не верит! – заявила она. – Я лучше... я лучше напьюсь!

И племянница моя показала себя человеком слова. Она напилась, не сходя с места, прямо у меня на кухне. Когда Лариску затошнило, я отвел ее в ванную, а потом уложил спать. А наутро она нарядилась, села в свою шикарную машину и уехала делать бизнес.

С тех пор ее визиты сделались регулярными. Надо полагать, задушевных подруг у Лариски не было. Да и не с каждой подружкой можно запросто раздавить бутылку. А со мной ей было

хорошо. Мы пили коньяк, словно два мужика, и, словно две бабы, трактовали о личном по десятому кругу.

И все было славно, несмотря на то что Фил, постоянный участник всех моих кухонных посиделок, считал, что коньяк с разговорами не может заменить личной жизни как таковой. Сам он не пил коньяка и помалкивал, но лишь до тех пор, пока его потребности в личном не заявляли о себе слишком сильно. А когда это случалось, мы оставляли Лариску думать над очередным тезисом, а сами отправлялись во двор, на собачью площадку. Дело в том, что собачья личная жизнь происходит, как правило, на форуме.

Милая наша площадка – она была еще цела. Как много смысла и пользы было в ее ограде! Сколько раз она защищала Фила от больших травильных псов, а маленьких декоративных – от самого Фила. Суки, понятно, были не в счет – их от зубов кобелей защищала сама природа. Правда, только от зубов. Сукам, переживающим трудные дни, вход на площадку был заказан.

И так продолжалось год или чуть более. Коньячные посиделки вошли у нас с Лариской в привычку. С одной стороны, это было неплохо; людям надо иметь привычки – они создают иллюзию устойчивости бытия. Но не все привычки доводят до добра, то есть мы знаем, что некоторые из наших привычек, наоборот, это самое бытие осложняют и даже укорачивают. Полагаю, привычка к коньяку могла довести мою Лариску до алкоголизма; тогда бизнес бы ее захирел, и ее бросили бы последние поставщики. Такая карьера типична – на нервной асфальтовой московской почве спиваются многие, очень многие из тех, кто думал завоевать столицу в частном порядке.

Но внезапно посиделки наши прекратились, и в свете сказанного я даже не знаю, жалеть мне об этом или нет. Как бы то ни было, Лариска вдруг опять исчезла. Она не являлась ко мне неделю, и две, и три, а потом я и думать о ней забыл, потому что на меня навалились собственные проблемы.

Началось все с того, что власти снесли нашу собачью площадку. Не стало спасительной ограды, и в результате, шляясь по двору в свободном режиме, Филипп нашел себе подружку, и подружку, как выяснилось, не для игр. Только выяснилось это, к сожалению, слишком поздно. Пока мы с хозяином подружки сообразили, что отношения между нашими питомцами завязываются всерьез, пока бежали через весь двор с глупыми криками «Фу!», между Филом и его пассией уже совершался тот самый акт, который уравнивает все сословия и состояния. А уравнивать, между прочим, было что, ибо сочетался мой друг с весьма породистой далматинкой.

Знаете вы или нет, но упомянутый акт в собачьем его исполнении совершается довольно долго, и прервать его в зрелой фазе нет никакой возможности. Поэтому нам с хозяином далматинки ничего не оставалось, кроме как в ожидании финала выяснять отношения между собой. В сущности, с собачьей точки зрения (к которой склонялся и я) в происшедшем соитии не было ничего противоестественного, но не так думал мой оппонент. Вот примерно как выглядел наш диалог.

Хозяин суки:

– Вы понимаете, что вы натворили?! У меня выставочный экземпляр!

Я: Я ничего не творил. Пасли бы свой экземпляр внимательнее.

Х. с.: Развели дворняг, понимаешь.

Я: Вам бы больше понравилось, если бы ее покрыл ризеншнауцер?

Х. с.: Сам ты ризеншнауцер!

Я: От такого слышу!

К счастью, до рукоприкладства мы дойти не успели, потому что под шумок собаки завершили свое дело. Они расставались с самыми добрыми взаимными чувствами, чего не скажешь о нас, их хозяевах.

Описанное происшествие имело для меня и для Фила диаметрально противоположные следствия. «Развязавшись», Филипп, как и положено, чрезвычайно вырос в собственных гла-

зах, а вот со мной получилось наоборот. Слова: «Сам ты ризеншнауцер» – оставили в моей душе неприятный осадок. Порой у меня возникало ощущение недосказанности, и я, выходя во двор, ловил себя на том, что ищу глазами хозяина далматинки. Не знаю, что мне было от него нужно; я даже не уверен, что действительно хотел с ним встретиться.

Тем не менее встреча произошла, и произошла, конечно, именно тогда, когда я к ней был совсем не готов. Я столкнулся с хозяином далматинки не во дворе и не где-нибудь, а в переполненном вагоне метро. Разумеется, метро не место для выяснения собачьих родословных, и я сделал вид, что его не замечаю, но этот господин, тоже меня заметив, сам ко мне притиснулся.

– Здравствуй! – прокричал он, почему-то улыбаясь.

Я в ответ поднял бровь.

– Вот где мы встретились! – продолжил он жизнерадостно.

– Мир отвратительно тесен, – пробурчал я, но, к счастью, он не расслышал.

– Что?... А вы знаете, что Веста родила шестерых?

Секунду я соображал, кто такая Веста, а затем проорал в ответ:

– Поздравляю! Будете подавать на алименты?

И тут поезд остановился; это была наша с хозяином далматинки общая станция.

– Ну что вы, какие алименты, – сказал он, беря меня под руку, – они такие милые. Вы знаете что... приходите к нам на крестины. С этим вашим... простите, не знаю, как вас обоих зовут.

Таким образом, глупая история с самовольной «развязкой» Филиппа получила неожиданно благополучную развязку без кавычек.

А пока у нас происходили все эти волнующие события, в жизни моей племянницы Лариски совершился, как оказалось, поворот сюжета – тоже по-своему удивительный и тоже со счастливым финалом. Я прочел об этом в ее письме, полученном по электронной почте тем же вечером, когда узнал, что Филипп стал отцом. Письмо было из Швеции, и сообщалось в нем, что Лариска вышла замуж и скоро станет матерью. Если выпустить из послания романтические подробности, до которых я не охотник, то суть его сводилась к следующему: в один прекрасный день Лариска догадалась сменить поставщика. В отличие от московских шведский поставщик подошел ей по всем статьям: он не расхаживает по дому в трусах, пукает только в отведенных местах и не находит Лариску дурой. Так что теперь у партнеров медовый месяц, который они проводят, собирая грибы под соснами на берегу Ботнического залива.

Письмо племянницы меня, понятно, обрадовало, но и навело на размышления. Отчего бы, скажем, некоторым московским бизнес-леди не взять на заметку Ларискин опыт? Хотя, конечно, Швеция – страна маленькая, и поставщиков оттуда на всех не напасешься.

Что касается меня, то я в тот вечер впервые за долгое время отходил ко сну в оптимистическом состоянии духа. Ведь что ни говори, а это неплохо, когда в мире становится шестью полудалматинцами и одним полушведом больше.

Прощание с Замойским

Умер Гриша Замойский – об этом, а также о дате похорон мне по телефону сообщила его жена Мила. Она говорила со мной значительным, каким-то отстраненным голосом – словно бы от лица покойного. Таким именно голосом, да еще с ноткой обвинения, обычно общаются с миром живых родственники свежесопшего человека. На самом деле Гриша не стал бы говорить со мной таким тоном даже с того света – с ним, да и с Милой тоже, мы старые добрые товарищи, только с ним теперь в прошедшем времени.

Студентами мы учились в одной группе. На нашем с Тamarой бракосочетании, случившемся на третьем курсе, Гриша с Милой были свидетелями, а год спустя уже мы понадобились им в том же качестве. По окончании института наши девочки получили свободное распределение, а мы с Гришей устроились весьма удачно в некое московское КБ. Мало того – мы с ним попали в одно и то же подразделение. Это могло бы даже послужить поводом для соперничества – все-таки два молодых специалиста на старте своей карьеры... Но у нас соперничества не вышло и выйти не могло. Где-то я слышал, что из десяти выпускников технических вузов лишь один в итоге становится приличным инженером. Из оставшихся бездарей трое делают административную карьеру, трое уходят искать себя в гуманитарной сфере, а трое пополняют число никчемностей в белых халатах, которых полно в каждой проектной организации и которые проявляют активность только при дележе отпусков и льготных путевок. Так вот: вы, наверное, уже догадались, что ни у меня, ни у Замойского инженерных талантов не обнаружилось – ни больших, ни каких-либо вообще. Также, на наше несчастье, мы были лишены подлости, хитрости и необходимого умения облизывать начальство. Поэтому очень скоро мы с Гришей оба поняли, что ни творческий, ни административный рост в КБ нам с ним не грозит. Но дальше пути наши разошлись, согласно вышеприведенной статистике. Я переключил работу мозга с левого полушария на правое и сделался прозаиком, а Гриша так и остался до конца своих дней служить рядовым в инженерной пехоте.

Многие годы мы, что называется, дружили семьями. Хотя, положа руку на сердце, семья – настоящая семья – была только у Замойских, потому что настоящая семья та, в которой есть дети. Увы, по части деторождения счет был два – ноль не в нашу с Тamarой пользу. Правда, в качественном отношении результатом своих производительных усилий Гриша был не вполне удовлетворен. Дело в том, что дети их – оба – были женского пола.

– Уж я старался, старался... – сокрушался он после рождения второй девочки, – и опять... Вот сколько не хватило! – он показал мне половинку своего мизинца.

Впрочем, даже при отсутствии того, что имел в виду Гриша, Лиза и Настя – так звали его дочерей – были резвы и шkodливы не хуже мальчиков. Ангельские их лобики нередко украшали шишки, а пухлые конечности – синяки и ссадины. Девчонки-погодки скандалили между собой по любому поводу, но самым частым поводом для ссоры был у них вечный спор – кому ехать на папиной шее. Гриша возил их на себе очень долго – до тех пор, пока из соображений приличия эту езду не запретила Мила. Но все равно почти каждые выходные папа с дочерьми отправлялись гулять. Эти прогулки, часто неблизкие, всегда носили познавательный характер. Замойский хотя и был никудышным инженером, но имел пристрастие к механизмам, поэтому своих девочек он водил то на выставку бронетанковой техники, то на авиашоу, то просто в Политехнический музей. И дочери против такой программы никогда не возражали – может быть, чувствуя свою вину перед папочкой в том, что родились немальчиками.

Надеюсь, мне простителен этот слишком пристальный интерес к тому, как растут чужие дети. Отнесем его на профессиональный писательский счет.

С годами у девочек стала формироваться индивидуальность. У Лизы существенно «выросла нога» – это, по словам Милы, гарантировало ей в будущем модельные пропор-

ции; Настя же прибавляла везде понемножку, что вскорости обещало мужской интерес. Лиза, помимо вежливого интереса к бронетанковой технике, в остальном показывала нормальные девичьи наклонности и хорошо училась. Настя училась неровно, и наклонности ее Милу пугали. Очень рано родители стали находить у нее сигареты и разные другие «артефакты», говорящие о том, что за девочкой нужен глаз да глаз.

Но, как бы то ни было, мы с Тамарой любили их обеих. Когда мы приходили к Замойским в гости, девочки целовали нас в щеку. Потом Лиза уходила к себе «заниматься», а Настя толклась подле взрослых и встревала в наши разговоры, пока Мила ее не изгоняла. Гриша при этом украдкой вздыхал – мне кажется, несмотря на сложный характер, Настя была его любимицей, и в ее отношении он особенно сожалел, что недодал того, что показал мне тогда на кончике мизинца.

Это был период, когда мы с Замойскими встречались раза по три-четыре за год, то есть довольно часто. Вообще же, время было непростое – особенно в финансовом отношении и особенно для ИТР низшего звена. Поэтому мы с Тамарой по дороге к ним в гости старались по возможности прикупить все, что нужно для стола. И после, за столом этим, мы деликатно избегали разговоров о деньгах и о Гришиной работе. Со своей стороны Замойские старались в беседах с нами избегать детской темы. Если же Миле случалось все-таки неосторожно заболтаться о своих родительских переживаниях, то Гриша под столом наступал ей на ногу. Мы и Замойские втайне считали друг друга неудачниками. Может быть, это и сближало нас в те трудные годы.

А потом, когда дела в обществе пошли на поправку, мы почему-то стали встречаться реже. Даже развод наш с Тамарой мне удавалось скрывать от Замойских больше года. И узнали-то они про него не от меня, а случайно от общих знакомых. Помню Гришин телефонный звонок.

– Слышал я, дружище, что вы с Томой того?... – осторожно поинтересовался он.

– Да, брат, мы разбежались.

– М-да... – печально вздохнул он после паузы. – Ну и что ты теперь?

– Ничего. Пишу.

– М-да... Надо будет тебя почитать.

Бедный Замойский! Я уверен, что он не прочел ни одной моей книжки. Духовная личность его умерла много раньше, чем тело. Такова, наверное, плата за семейное счастье... Теперь вот разве, когда он тоже ушел из семьи, мне бы стоило в гроб ему положить свой томик. С дарственной надписью: «Другу Грише в дорогу»... Только нет у меня с собой томика, да и батюшка-поп заругался бы. Хотя кто его знает – московские попы на многое смотрят сквозь пальцы. Этот, к примеру, творит отпевание, догадываясь, мне кажется, что усопший не был крещен. И уж точно батюшка знает, что отсюда, из часовни при морге, мы повезем отпетого в самое что ни на есть неправославное заведение – в крематорий.

– Бедная Мила! – слышу я шепот у самого уха.

Все-таки она пришла. Тамара берет меня под руку, прижимается ко мне, и я чувствую, что она слегка дрожит.

– Ты одна?

– С Димой-маленьким. Он на улице.

– А Палыч?

– Ему-то что? Он его не знал.

– Ну да, ну да...

Отпевание завершено. Погасив кадило, священник дает инструкции – что делать нам, «близким», на кладбище при окончательном прощании с покойным. Мила сосредоточенно глядит на батюшку, но я понимаю, что она не слышит ни единого его слова. Ничего, с ней Тамара. И еще Лиза с Настей. Я было не узнал их – такими они стали взрослыми барышнями.

Несем Замойского в катафалк – я и еще трое мужчин, судя по всему, его сослуживцы. Тяжело.

Едем на кладбище. Тамара взяла Милу с дочерьми к себе в машину, а я, зная, что еще нужен буду при гробе, поместился в катафалке с Гришей и его сослуживцами. Московский бюджетный катафалк – это переоборудованный микроавтобус. Посредине его освобождена площадка для главного пассажира, а по бокам площадки устроены лавочки для сопровождающих. Мы сидим, придерживая коленками крышку гроба, которая от дорожной тряски все время съезжает на сторону. В катафалке пахнет бензином, сырой доской и перегаром. Гришины сослуживцы, конечно же, успели заранее «употребить» и поэтому всю дорогу травят байки на производственные темы. Смысл в том, чтобы в каждой истории вывести центральным персонажем Замойского. Я слушаю и узнаю о Грише много нового. Заодно вспоминаю коридоры КБ, урны, переполненные окурками, и таких же травильщиков, только двадцатилетней давности.

Нас подбрасывает на ухабах, и очередной рассказчик сбивается с мысли. Он растерянно смотрит на гроб с Замойским.

– Да, – говорит его товарищ, заполняя паузу, – все-таки рано Гриша ушел.

– Правда, – кивают остальные сослуживцы, – пожил бы еще.

Ухабы означают, что мы уже на подъезде к кладбищу. Протерев запотевшее окошко, я вижу широкую площадку, уставленную такими же, как наш, автобусами-катафалками. Очередь на тот свет. Приткнувшись на свободное место, наш водитель выключает мотор и отправляется разведывать обстановку. Что ж; коли так, можно выйти и нам – покурить и подышать свежим воздухом. Мы выбираемся из катафалка – все, кроме Замойского, он больше не курит.

Неподалеку я замечаю Гелендваген, приехавший раньше нас. Женщины, наверное, сидят внутри него, прячут слезы за тонированными стеклами, а снаружи прохаживается с сигаретой Дима-маленький.

– Привет! – подхожу я к нему.

– Привет...

– Дорогу на кладбище легко нашел?

Дима усмехается:

– Я эту дорогу с закрытыми глазами найду. Сколько братков сюда свез...

– Понятно...

Во времена оны Дима-маленький состоял, как он выражается, в «неофициальном профсоюзе».

Однако очередь в крематорий движется быстрее, чем можно было предположить. Не проходит и часа, как мы уже вносим Замойского в зал прощания, точнее, ввозим, потому что здесь для удобства посетителей имеется тележка. Мы катим тележку к постаменту, специально устроенному в глубине зала, а в это время служительница уже включает печальную музыку – включает негромко, чтобы не мешала надгробным речам. А речи будут – можно не сомневаться. Гришины сослуживцы уже шушукаются, видимо выделяя из своей среды самого красноречивого. Вот гроб утвердился на постаменте и снова открыт. Красноречивый сослуживец выдвигается к его изножию и... бормочет что-то невнятное. Вид у него такой, будто его вызвали на ковер к начальству. Смешавшись и зарпортовавшись вконец, он оглядывается, ища поддержки товарищей, и один из них приходит ему на выручку. Вместе они на своем кабинетном языке с трудом формулируют что-то про Гришины производственные и общественные достижения. Звучит так, словно они на два голоса зачитывают почетную грамоту, только вместо пожелания «дальнейших успехов» выступление их заканчивается словами «спи спокойно».

Служительница крематория посматривает на часы. Нам пора приступать к целованию покойного и выполнению инструкций, данных батюшкой после отпевания. Целуем в порядке очереди. Процедура не из приятных; некоторые от нее уваливают.

Всё. Покойный осыпан землицей из бумажного мешочка, гроб закрыт, заколочен и уезжает в отверстие в стене. Там, в отверстии, не бушует пламя, это еще не печь, но уже скоро... Пожалуй, я правильно сделал, что не положил Грише в гроб свою книжку, а то бы и она сгорела.

Как только отверстие в стене закрывается, служительница выключает музыку. Несколько секунд по залу гуляет шепоток да из разных углов слышатся сдержанные высмаркивания...

И тут неожиданно посреди тишины раздаётся громкое рыдание – первое за всю церемонию. Лиза, как маленькая, плачет на груди у Милы. Настя смотрит на сестру, кусая губы.

– Дура! – зло шепчет она и... падает в обморок.

Тамара, стоящая рядом, едва успеваешь ее поймать, но служительница крематория тут как тут с нашатырем.

– Ничего, ничего, – говорит она, – это в порядке обычного.

Наверное; ей видней.

Похороны окончены, и по возвращении в город следующим пунктом «в порядке обычного» значатся у нас поминки. Поминки справляются на квартире у Замойских в некоторой тесноте, но в общем на должном уровне. Описание их я опускаю, чтобы не повторять кошмарные монологи Гришиных сослуживцев.

Возвращаемся с поминок мы уже темным вечером. Я сижу с Тамарой на заднем сиденье Гелендвагена и слушаю рассказ о том, как Мила, придя с работы, обнаружила мертвого Гришу.

– Представляешь, – возбужденно говорит Тамара, – Милка приходит домой, а он сидит за столом. И супчик перед ним – уже холодный...

– Успокойся... – я прижимаю ее к себе.

Некоторое время мы едем молча. Однако я чувствую, как Томино тело начинает понемногу содрогаться. Она плачет.

– Ну уж ты очень... – бормочу я, – нельзя же так близко к сердцу...

Тома поднимает заплаканное лицо:

– Прости... Мне стало страшно: вдруг я приду к тебе, а ты вот так же... сидишь над супчиком.

Я прячу в темноте усмешку:

– Почему же я, а не твой Дмитрий Павлович?

– Не знаю, – отстраняется она почти сердито. – Сейчас вот о тебе подумала.

Приняв вертикальное положение, Тамара смотрит на широкую спину Димы-маленького.

– Дима! – говорит она.

– Ну?

– Ты Палычу не проболтаешься?

– О чем? – спрашивает он. И пожимает могучими плечами: – Вообще-то, в нашем деле болтать не принято.

– Не принято? Вот и хорошо, – в Томином голосе звучит решимость. – Тогда разворачивай машину – мы едем в другое место.

Дима смотрит на нас в зеркало заднего вида.

– Куда? – спрашивает он бесстрастно.

– К нему, – она глядит на меня, и на мокром от слез ее лице чудится мне улыбка. Родная, забытая, полная нежности Томина улыбка из прошлого. Что ж, поедем, ко мне, к нам, помянем опять нашего друга Замойского, а с ним и еще много, много чего...

Ловушка для Гелендвагена

Вы помните, как в старом кино снимали «поездку на машине»? Где-то в павильоне на фоне киноэкрана устраивали макет автокабины и сажали в него актеров. На экране, в оконных прорезях макета, бежало шоссе и мелькали телеграфные столбы, а актеры покачивались как бы на дорожных неровностях. При этом актер, игравший водителя, смотрел безотрывно вперед и старательно пилил баранкой... Но вот представьте себе, что съемка закончилась. «Водитель» бросил руль, «пассажиры» перестали подпрыгивать на несуществующих ухабах; все расслабились, пьют кофе и о чем-то болтают. И только за окнами макета бежит забытая на экране, не выключенная почему-то дорога... Плывут голубовато-облачные перелески; веерами раскрываются пажити; пролетают в шашлычном дыму придорожные кавказцы. Вдруг домовую лавой выскакивает из-под горы село: бабки с банками, бабки с ведрами – аж в глазах рябит... И опять – чисто; только плавно, долго вздымается и опадает поле, словно дышит большим животом. А впереди уже показался и близится, вздымаясь бронзовой колоннадой, сосновый строевой лес. Стволы стоят тесно и прямо, как органные трубы; бор гудит и дышит церковной торжественной сыростью в окна пролетным авто. Только окна авто задраены.

Сидя в своем макете, мы не слышим ни аромата скошенных трав, ни лесного дыхания, и если нам чудится запах хвои, то исходит он от картонной елочки-дезодоранта, болтающейся под зеркальцем на лобовом стекле.

– Пропустим наш поворот, Палыч. Ты бы хоть на дорогу посматривал.

– Не учи ученого, – отвечает Дмитрий Павлович.

Он сидит вполборота ко мне со стаканчиком кофе в правой руке. Левая его рука с пухлыми пальцами покоится на баранке. Именно покоится, потому Гелендваген, шлифующий федеральную трассу на скорости в сто шестьдесят километров, руля не просит. Вот что значит ехать на хорошей машине! В ней внутри каждый уголок обит чем-то мягким, нетравматичным. Салон похож на футляр для некоей драгоценности, и человеку, сидящему в ней, не может не казаться, что драгоценность эта – он. Стоит ли удивляться чудачкам, завещающим похоронить себя в собственных авто. Я и сам не прочь быть погребенным в Гелендвагене, лишь бы это не произошло слишком рано.

А чтобы наше погребение не случилось до срока, Дмитрию Павловичу надо все-таки держать руль двумя руками. Я забираю у него стаканчик из-под кофе и пытаюсь заставить его сосредоточиться на вождении. Но это непросто, ведь после московской автомобильной сутолоки шоссе кажется таким просторным... Дмитрий Павлович бросил поводья, едва мы выбрались за кольцевую, и мне не по себе от подозрения, что водители обгоняемых нами и нас обгоняющих машин сделали то же самое.

На дорожном набежавшем указателе я прочитываю: «р. Воля». Где-то я слышал, что имена подмосковных речек имеют санскритское происхождение. Интересно, что означает слово «Воля» на санскрите?... Воля?! – по-русски это значит, что мы чуть не прозевали свой поворот!

– Палыч, приехали! – кричу я. – Ищи сверток!

– Вижу, не ори, – бурчит он.

На самом деле ничего он не видел, иначе не ехал бы в третьем ряду от обочины. Пугая попутных, дремавших за рулем водителей, мы режем вправо через две полосы и тормозим так резко, что Фил, дрыхнувший на заднем сиденье, кубарем скатывается на пол.

Вот и настал момент истины для Гелендвагена. Нашему немцу пришла пора доказать, что он настоящий внедорожник, что большие колеса и целая конармия под капотом нужны ему не только для форса. И немец уверенно отвечает: «Нихт проблем! Только объяснят мне, пожалуйста, куда ми ехат?» Нет, он не страшится испытаний – он джип, он силен и прочен, и

лучшие инженеры готовили его к преодолению бездорожья. Но Гелендваген слегка недоуме-
вает: зачем было нам с приличного автобана сворачивать на эту условно-проезжую, пыльную
тропу в земле, жилисто-перекрученную и ссохшуюся, будто старый анатомический препарат.
Бог знает, куда ведет эта тропа. Слышал Гелендваген, что у русских она зовется проселочной
дорогой, но нам-то что до нее за дело? – нам, обитателям мегаполиса и почти европейцам.
Или мы решили повеселиться, устроить, как это сказать... покатушки? Если так – ну тогда
он понимает.

– Держитесь, братцы, сейчас попрыгаем! – возбужденно предупреждает наш драйвер.

Гелендваген взрыкивает могучим дизелем и отважно пускается по волнам российского
внедорожья. Его широкие шины мнут свежие сырые коровьи лепешки и кладут свой четкий
след поверх отпечатков копыт и тракторной «елочки». Подвески без стуков и скрипа уверенно
отрабатывают многочисленные кочки и рытвины. И между прочим, никаких прыжков: жеер –
это вам не колхозный «козлик»!

У Гелендвагена больше нет вопросов, но они есть у Фила. Он перебегает сзади от окна
к окну, то и дело приседая на подобранный хвостик, и взволнованно поскуливает. Успокойся,
приятель! Не думаешь же ты в самом деле, что мы с Дмитрием Павловичем решили устроить
покатушки на старости лет. Просто... Просто мы едем на рыбалку. Выпить водочки, подышать
речными туманами и покормить комаров. Тоже отчасти экстрим, но все-таки больше соответ-
ствующий нашему возрасту. Тебя же, мой друг, ожидают собственные развлечения: ты смо-
жешь вволю набегаться, изваляться в навозе и, если повезет, поймашь водяную крысу.

Проселок тянется вдоль высокого берега речки, то приближаясь к нему, то отдаляясь.

– Где же съезд? – беспокоится Дмитрий Павлович.

– Будет, – обещаю я твердо.

Но, по правде сказать, я блефую, потому что мест этих толком уже и не помню. Я бывал
здесь когда-то, но так давно... Воспоминания всплывают в моем мозгу, как обрывки сновиде-
ний, которым нет надлежащей веры... Впрочем... ну как же! Вот же он, съезд!

– Пальч! – вскрикиваю я обрадованно.

– Вижу... – отвечает он, хмурясь.

Дмитрий Павлович хмурится оттого, что съезд ему кажется слишком крутым. А чего он,
собственно, хотел? В природе, знаете ли, без удобств... Словно конь над рекою, Гелендваген
застыл перед спуском, больше похожим на обрыв... Ну же, смелей!.. Стрельнул из-под шины
камушек и покатился вниз. Вслед за ним, сосредоточенно сопя и поскальзываясь то одним
колесом, то другим, осторожно спускается Гелендваген.

Вот и славно, а вы боялись! Посмотрите, какой чудный зеленый бережок – просто райское
местечко. Правда, гуляя по травке, тут надо поглядывать под ноги, не то... Ах! – ну вот, я же
предупреждал... Оттирая кроссовку, испачканную в навозе, Дмитрий Павлович ворчит что-
то про противопехотные мины.

– А ты как думал! – отвечаю я с усмешкой. – Здесь тебе не парк культуры.

Сейчас я чувствую, и не без удовольствия, свое превосходство над ним, исконным горо-
жанином. И как не чувствовать – это же мои места, с детства памятные... Ой! – вот и сам
вляпался...

Что ж! Главное на природе – не терять бодрости духа. После непродолжительных блуж-
даний по берегу я нахожу относительно чистое место, и мы приступаем к обустройству нашего
стойбища. Мы – это мы с Филом, Дмитрий же Павлович и рад бы нам пособить, да не может,
потому что поглощен войной со слепнями. Он лупит себя то по шее, то по лбу, то по ногам
пониже шорт. Со стороны кажется, что человек танцует «цыганочку», и чем дольше он пля-
шет, тем больше слетается к нему слепней, привлеченных не столько голодом, сколько любо-
пытством.

Но постепенно наша берет, и мы, несмотря на противодействие вражеской авиации, закрепляемся на береговом плацдарме. Поставлена палатка, в зенит постреливает костерок, а члены наши, в качестве пассивной защиты, покрыты мазью, способной отпугнуть даже крупного хищника.

Выпито по сто пятьдесят.

Поначалу, окинув глазом нашу стоянку, невнимательный наблюдатель мог бы решить, что мы просто компания горожан, банальным образом выбравшаяся на пикник. Но только невнимательный. В отличие от любителей пикников, выезжающих на природу, чтобы лишь выпить-закусить, мы прибыли сюда с серьезными намерениями. На это указывают хотя бы наличие у нас палатки и отсутствие женщин. И еще – странные манипуляции, которыми последние полчаса занят Дмитрий Павлович. Приглядевшись, можно догадаться, что он собирает из привезенных деталей американские удочки. Он уже несколько раз сам себя поймал на крючок, но в целом дело у него спорится, так что работы ему осталось еще минут на сорок, не больше. Конечно, быстрее и проще было бы пойти в ближние кусты и срезать там два подходящих удилица, но тогда зачем прогресс и техническое развитие?

Но вот другое достижение прогресса нам точно не пригодилось. Я имею в виду зачем-то купленный Дмитрием Павловичем американский же электронасос для надувания резиновой лодки. Дело в том, что насос и моя старушка-лодка, приобретенная еще отцом моим на давней-предавней распродаже армейского имущества, никак между собой не стыкуются. В лице этих двух изделий встретились не только две разные системы, но два далеких друг от друга технологических поколения. Однако беды тут нет, потому что для накачивания лодки имеется штатный ручной мех, похожий на голенище сапога, каким некогда раздували самовары. Шланг пропущен меж сомкнутых ляжек, в которые уперт собственно мех. Клапан лодки издает громкий непристойный звук; я качаю, и капли трудового здорового пота стекают с моего носа.

Наконец наше плавательное средство и средства уженья приведены в рабочее состояние. Теперь даже на самый поверхностный взгляд очевидно, что мы с Дмитрием Павловичем собираемся приобщиться к одному из древнейших человеческих искусств, а именно к рыбной ловле. Разумеется, ни я, ни мой компаньон не питаем иллюзий, что дело это простое. Поэтому и запасся Дмитрий Павлович американскими удочками, электронасосом и банкой каких-то отвратительных гусениц, очень дорогих, про которых в рекламе сказано, что рыбы от них без ума. Я, правда, не представляю себе, как буду есть рыбу, которая ест такую гадость, – самая мысль о том, чтобы взять эту гусеницу в руки и нанизать ее на крючок, приводит меня в содрогание.

Впрочем, и здесь на выручку мне приходит память, а может быть, даже не память, а какой-то инстинкт или атавистическое наитие. Я беру в руки палку и рою в кустах, где земля более сырая. В течение какой-нибудь четверти часа я добываю десяток замечательных, жирных, глянцеvито-влажных, аппетитных дождевых червей. Это будет моя наживка, а Дмитрий Павлович, если ему не противно, пусть ловит на своих поганых гусениц.

Итак, все готово. Осталось только принять по сто пятьдесят, спустить лодку на воду и... И еще уладить вопрос с Филом. Как только до него доходит, что его не берут в плавание, с ним делается истерика. Пока мы с Дмитрием Павловичем грузимся в лодку (что при наших с ним габаритах дело не из легких), Фил с отчаянными воплями мечется по берегу. Он даже предпринимает попытку броситься вслед за нами в плыв, но, к счастью, пловец из него никудышный, и страх заставляет его, мокрого и несчастного, вернуться на сушу. Постепенно лай его переходит в горестные завывания; истерика сменяется меланхолией. А потом внимание Фила отвлекает лягушка, скакнувшая в траву. Со стороны лягушки это вызов, и тут уж, понятно, все переживания побоку.

Неотложные хлопоты, как это случается со всеми нами, помогают Филу снести разлуку. Тем более что разлука наша, в смысле расстояния, не столь уж велика. От берега до места,

где мы с Дмитрием Павловичем бросили якорь, метров пятнадцать – не больше. Но дальше плыть не имеет смысла, потому что мы и так уже находимся на середине реки. Вообще, не очень понятно, зачем нам понадобилось рыбачить с лодки. Вроде бы кто-то говорил Дмитрию Павловичу, что здесь, на глубине, ходят самые большие рыбы. Может быть, они и ходят, но только какое им до нас дело... Хотя сидение в одной лодке само по себе помогает сблизиться – если не с рыбами, то рыбакам между собой. А не для того ли мы с Дмитрием Павловичем и затеяли эту поездку?

Наживив на крючки каждый свою приманку, мы забрасываем их в воду, давая большим рыбам повод для размышлений. Теперь, кажется, нам можно и пообщаться. Похоже, мой спутник давно этого хотел...

Но о чем же мы с ним будем говорить? Обычно мужчины в лодке толкуют о политике или о женщинах. Проблема, однако, в том, что мой Дмитрий Павлович – идейный западник. Он держится таких либеральных взглядов и такой при этом доктринер, что если мы с ним заговорим о политике, то распугаем всю рыбу. О женщинах же нам беседовать тем более неудобно, потому что одной из них мы как-никак приходимся мужьями. Даром что я муж отставленный – Дмитрий Павлович, я знаю, ревнует меня к Тамаре, и знаю, что небеспричинно.

Выражаясь научно, он ко мне относится амбивалентно. С одной стороны, я чувствую, что нередко раздражаю Дмитрия Павловича, а с другой – это тоже заметно – чем-то его привлекаю.

Может быть, я просто непонятен ему как человек, и он хочет меня раскусить. Что ж, пусть попробует; только вряд ли это ему удастся, даже сидя со мной в одной лодке. Ему ли с его единственным работающим левозападным полушарием в мозгу понять художника.

Впрочем, вопреки моим ожиданиям, Дмитрий Павлович с разговором не спешит. Полчаса уже мы с ним сидим молча, свесив удочки по разные стороны лодки...

...Мой поплавок исчез. Заметил я это не сразу, хотя мне казалось, что я смотрел на него безотрывно. Может, он попросту утонул?... Нет! – поплавок опять выныривает и, мгновение подумав, вдруг резво бежит в сторону, косо накреньясь и пуская по воде усы. Секунды три я замороженно наблюдаю за его эволюциями... «Подсекай!» – будто вняв слышится мне голос из далекого детства. Вспомнить бы еще, как это делается... Я судорожно дергаю удилицем в противоход поплавку, и – о чудо! – внезапно огруженное, оно напряжинивается, отдавая мне в руку живой судорожной вибрацией. Рыбка сопротивляется, покуда остается в своей стихии, и рывки ее порождают во мне преувеличенные надежды. Но, выдернутая из воды, она оказывается много меньше, чем я ожидал. Когда я ловлю ее свободной левой рукой, то она вся, за исключением головы и хвоста, помещается в моем кулаке.

Мудрые до бессмысленности круглые глаза и расплывшаяся по губе капелька бледной рыбьей крови. Вот ты какая, моя первая рыбка... Я бы выпустил тебя обратно в речку, но тут сидит еще один рыболов, с которым у меня предполагается счет. Так что поплавай пока в ведре.

Дмитрий Павлович, кстати, в похвалах довольно сдержан.

– Маловата рыбешка, – замечает он, косясь на ведро. – Что хоть за порода?

– А мне почем знать, – пожимаю я плечами.

В течение следующего часа мне удается поймать еще три рыбки той же неизвестной породы, а Дмитрию Павловичу – ни одной. Разуверившись в своих патентованных гусеницах, он выпросил у меня червяка, но это ему не помогло. Мы менялись с ним местами, удочками – все бесполезно: рыбки по-прежнему его игнорируют. Последние четверть часа в лодке у нас царит напряженное молчание – Дмитрий Павлович таит распирающую его злость, я – ликование. Наконец, не выдержав, он разражается бранью. Громовой безадресный мат его несется над речной гладью, эхом отражаясь от обоих берегов.

– Не ори, рыбу распугаешь, – пытаюсь урезонить я Дмитрия Павловича, но его уже не остановить.

– Кой черт распугаешь – она меня все равно боится! Я уж и так садился, и этак, и на червяка плевал по твоему совету! Нет, тут должно быть рациональное объяснение...

– Оно не всегда находится, – кротко замечаю я, но Дмитрий Павлович не слушает.

– Вот бы... – говорит он, с ненавистью вглядываясь в темные речные глубины, – вот бы шарахнуть ее динамитом!

Я укоризненно качаю головой:

– Вот все вы такие, рационалисты. Если что-то не поддается вашему объяснению, вы норовите динамитом.

Это мое замечание может послужить прологом к дискуссии, и неизвестно, до каких обобщений в ходе нее мы доберемся. Дмитрий Павлович явно хочет мне что-то возразить... но не успевает. Дискуссия прервана, не начавшись, потому что Фил на стоянке поднимает вдруг бешеный лай. Оглянувшись на берег, мы видим причину шума: перед спуском к реке, тем самым, единственным, по которому съехали сюда и мы, толпится коровье стадо. Ах, чтоб их! Но этого следовало ожидать...

С криком: «Спасай стоянку!» – мы с Дмитрием Павловичем, не раздумывая, гребем к берегу, хотя подумать бы стоило. Например, если компанию буренок опекает бык, то лучше бы нам плыть от берега прочь. К счастью, быка не видно; зато на краю обрыва выросла мужская фигура с кнутом. Одетый в пиджак и кирзовые сапоги, пастух смотрится как на плакате; картину портит лишь бейсболка на его голове вместо кепки. Оценив обстановку, он величественно взмахивает кнутом, и воздух разрывает оглушительный, как выстрел, хлопок. Вздвигнув все разом, коровы приходят в движение и с мычанием поспевают на берег. Толкаясь и скользя растопыренными копытами, они скатываются по спуску, но... снова тормозят, словно чего-то испугавшись. Что же их так смущает? Уж конечно, не Фил – таких героев они и у себя в деревне нагляделись. Но вот Гелендваген – его они явно робеют. Обходя его по пути к воде, коровы косятся на лакированные бока, взволнованно мотают головами и взмахивают длинными ресницами.

Коров, на наше счастье, немного, да и Фил все-таки не подпускает их близко к стоянке. Он в одностороннем порядке определил какую-то невидимую демаркационную линию между нами и пришельцами и теперь вдоль нее патрулирует. Тем не менее, пока коровы здесь, рыбачить мы не решаемся. В ожидании, пока стадо уйдет, нам с Дмитрием Павловичем ничего не остается, кроме как выпить еще по сто пятьдесят, что мы и делаем. Однако процедура эта не проходит незамеченной: пастух, до сих пор выражавший к нам полное безразличие, вдруг, оставив своих подопечных, направляется в нашу сторону. На лице его играет приятная, хотя и неполнозубая улыбка.

– Здорово, мужики! – приветствует нас пастух еще издали. Филу он при этом на всякий случай показывает кнут.

– Здорово, мужик, – откликаемся мы. – Выпить хочешь?

– Так ить... не откажусь, – цветет он пуще.

Кто бы сомневался.

Прошел еще час, а может быть, больше, пока коровы наконец утолили свою жажду. Не обращая уже внимания на Гелендваген, соловые от выпитой воды буренки одна за другой потянулись по спуску вверх. Руководитель их после водки тоже заметно отяжелел, однако пастырский долг повелевает ему следовать за стадом.

– Ну, бывайте здоровы... – с печальным выражением лица он прощается то ли с нами, то ли с недопитой бутылкой.

– И, тебе не кашлять... – откликаемся мы облегченно.

И уже отойдя не некоторое расстояние, пастух, обернувшись к нам, что-то говорит, тыча кнутовищем в небо.

– Что? – переспрашиваем мы.

– Дожжик будя, вот что!

Мы смотрим на небо, но, кроме нескольких легких облачков, на нем ничего не видно.

– Ключнул малость, вот ему и мерещится, – резюмирует Дмитрий Павлович.

После ухода коров остаток дня у нас проходит без серьезных происшествий, если за такое не считать то, что Дмитрий Павлович ловит свою первую и единственную рыбешку. По наступлении сумерек мы возвращаемся на берег, выпиваем по сто пятьдесят и ужинаем. Поужинав, долго молча сидим, глядя в костер. Искры взлетают и больше не возвращаются на землю, а повисают на небосклоне в виде звезд и звездочек. А когда родильная сила дров истощается и им приходит время умереть в красивой агонии, рассыпавшись на множество седых угольков, – к этому времени небо уже густо заселено. Будто в насмешку над пьяным пророчеством пастуха, небо усеяно множеством крошечных, но отчетливых, почти немигающих светил.

– Даже не помню, когда видел их в последний раз, – размягченно произносит Дмитрий Павлович. – Наверное, еще в пионерском лагере.

Наши лица и животы обращены к ночному небу. Покуривая, мы лежим в траве, и дым наших сигарет стелется над нами, загущивая Млечный Путь.

– Все дела да дела, – вздыхает опять Дмитрий Павлович, – а на звезды взглянуть и некогда. Только и знаю, что Большую Медведицу.

Его грусть меня подкупает.

– Если знаешь Большую Медведицу, – замечаю я сочувственно, – то я могу показать тебе Полярную звезду.

– Полярную? – недоверчиво косится он. – Ну покажи.

– Хорошо, – говорю я. – Значит, Медведицу ты видишь?

– Вижу.

– Тогда возьми две крайние звездочки ее ковша и проведи от них мысленно прямую линию. Первая сравнительно яркая звезда по этой линии – она и будет Полярная.

Дмитрий Павлович с минуту напряженно всматривается в небо.

– Нашел? – спрашиваю я.

– Нашел, – бурчит он. – Только никакая она не яркая.

– Я же сказал – сравнительно.

– И линия не прямая.

– Экий ты, Палыч, зануда!

Его придирки меня раздражают. Мне больше не хочется рассматривать с ним звезды; я зеваю и ползу в палатку спать.

Фил, похоже, только и ждал этого момента. Он тоже зевает во всю пасть и, как только я укладываюсь, со стоном валится рядом, притискивая меня боком. В двухместной палатке мы с Филом могли бы провести остаток ночи более или менее комфортно, но не успеваем мы задремать, как под полог втягивается, кряхтя, третье, сверхштатное, тело. Фил недоволен, но после короткой борьбы за место, сопровождаемой рычанием и матом, вынужден уступить. Со мной Дмитрий Павлович тоже не церемонится, однако не на таковского напал. Какое-то время мы, все трое, ожесточенно возимся, пока Дмитрий Павлович, внезапно обмякнув, не перестает оказывать сопротивление – в пылу сражения он, оказывается, заснул.

Палатка сотрясается от храпа Дмитрия Павловича, а я лежу и недоумеваю: ну что Тамара могла найти в этом грубом, эгоистичном человеке?

Между тем постепенно меня тоже начинает одолевать дрема. Сквозь сон мне слышится, как к звукам, издаваемым Дмитрием Павловичем, прибавляются другие. В этих новых звуках больше гармонии, но ритм их, напоминающий бой далеких тамтамов, несет какое-то тревожное сообщение. Я силюсь расшифровать это сообщение и не могу, потому что тамтамы бьют уже за пределами моего сознания...

А где-то тем временем уже разыгрались, взбунтовались воды. Обезумевшие реки смывают целые города, а мокрые до нитки, растерянные люди мечутся в поисках рационального объяснения. Но нет ни газет, ни полиции, и порван, стихиями порван интернет-кабель. Некому людям помочь, и только плач стоит среди них... От жалости к человечеству, а может быть, оттого, что кто-то трясет меня за плечо, я просыпаюсь.

– Вставай, брат! Плохи наши дела...

Я вижу над собой склоненного Дмитрия Павловича. Мокрый, как все человечество, он трясет меня, отчего сам трясется, и вода с него каплет мне на лицо.

– Что? Что случилось? – я испуганно привстаю на локтях.

– Беда, брат! Накаркал пастух проклятый! Теперь только до меня доходит, что воды мне не снились. Дождь и вправду идет. Он гулко стучит по крыше палатки и барабанит, пробуя на звук все, что лежит под открытым небом. Но особенно звонко и как-то насмешливо дождевые капли шелкают в плоское темя Гелендвагена.

Эвакуация! Даже не позавтракав, мы с Дмитрием Павловичем кое-как в спешке собираем свои промокшие пожитки и упихиваем их в машину, а затем лезем в нее сами, натаскивая на дорогие паласы по пуду прибрежной глины, если не чего похуже. «Ну, немец, вывози!» – молю я мысленно, хотя предчувствие у меня нехорошее.

Мощно взрычав, наш Гелендваген идет на подъем. Но подъем – это не то же, что спуск, особенно после дождя. Взавши с разгону метров десять, мы начинаем буксовать и останавливаемся. После чего, продолжая уже без толку вращать всеми четырьмя колесами, Гелендваген боком сползает вниз, к месту своего старта. Мы пытаемся въехать снова и снова, но всякий раз достигаем на склоне одного и того же места, которое теперь можно назвать нашей точкой возврата. Увы, могучий двигатель и компьютеризированная трансмиссия не помогают Гелендвагену: связи с землей, с почвой – вот чего ему не хватает в настоящее время.

После пятой или шестой безуспешной попытки Дмитрий Павлович теряет над собой контроль. Визгливо матерясь, он проклинает день и час, когда согласился ехать на эту «чертову рыбалку», хотя, сколько я помню, идея была его собственная. В ожидании, пока Дмитрий Павлович перестанет биться головой о рулевое колесо, я выхожу из машины, открываю багажник и достаю из кучи мокрого барахла бутылку водки.

Я отпиваю из горлышка примерно сто пятьдесят, делаю вдох, поднимаю глаза... и что же я вижу? На горе, по-над спуском, показалась похожая на колокол человеческая фигура. Колокол человек напоминает потому, что на нем нахлобучен армейский плащ-палатка, но по козырьку бейсболки, торчащему из-под капюшона, а главное, по улыбке я узнаю в человеке давешнего пастуха. Помахав в воздухе бутылкой, я приглашаю его спуститься. Упрашивать не приходится.

Еще на подходе пастух принимается что-то радостно лопотать:

– ...ить я вам вчера говорил! – слышу я.

– Говорил, говорил!.. – из Гелендвагена высовывается сердитая физиономия Дмитрия Павловича. – Ты говори, что теперь-то нам делать?

Не отвечая ему, пастух берет у меня бутылку и, следуя моему примеру, долго пьет из горлышка. Лишь отдышавшись и отерев заслезившиеся глаза, он оборачивается к Дмитрию Павловичу:

– Так ить сказываю же – я на тракторе.

Он произносит это так просто, так буднично... У меня на глазах тоже выступают слезы, но не водка тому виной. Добрый, мудрый, русский ты наш мужик! Что бы мы без тебя делали?

Человек с улицы

Когда мы с Тamarой въехали в эту нашу квартиру, то первым делом я, конечно, поменял казенный дверной замок на такой же стандартный, но купленный в магазине. Затем сразу же я взял бумажку со своим новым адресом (на случай, если забуду), пошел на почту и выписал газету. Оба эти поступка явились, как я понимаю, актами гражданского самоутверждения, в котором я тогда чувствовал острую потребность. Ведь квартиру купил нам Томин папа, а сам я, студент средней успеваемости, представлял собой социальную единицу довольно низкого разряда. Ключи от своей квартиры и газета, которую мне теперь обязаны были доставлять персонально, безусловно подняли мой статус, правда лишь в собственных моих глазах и глазах, быть может, местной почтальонши. Мне хотелось добрать солидности, и в этом я не вижу большого греха. Кроме того, у меня смолоду образовалась неистребимая привычка читать за едой. Но была и еще одна причина выписать газету – мне нужен был регулярный источник информации. Я ведь намеревался стать добропорядочным обывателем, а обыватель, как правило, любит, угнездившись в надежном убежище, выглядывать оттуда незаметно, наблюдая за происходящим в мире.

Однако таких отдушин для выглядывания у нас, обывателей тоталитарной эпохи, было немного. Краники с холодной водой и с горячей кое-как еще работали, а из информационного текла совершенная какая-то муть. Телевидение и большинство газет не только изощрялись в политическом вранье, но и просто тупо замалчивали все интересующие нас факты. Я говорю, конечно, не о преступлениях, авиационных катастрофах и личной жизни знаменитостей – обыватель тоталитарной эпохи интересовался более высокими материями. И только два ежедневных печатных органа, две газеты могли худо-бедно удовлетворить обывательскому запросу – одна городская московская и одна всесоюзная. Я не буду их сейчас называть, потому что с приходом свободы и демократии обе они опошлись и выродились в таблоиды.

Таким образом, выбор мой был невелик. Из двух газет я, как обыватель с относительно широким кругозором, предпочел всесоюзную.

А спустя несколько лет над страной зашумели ветры перемен. Мы встретили их с энтузиазмом, я и моя газета. Все тогда буквально опьянели от наступившей свободы. Но что у трезвого на уме, то у пьяного на языке – вот и у моей газетки язык развязался сверх всякого приличия. Мое обывательское естество просило объективной, но утешительной информации, а читать приходилось интервью с безумными политологами, криминальные репортажи и ежедневные отчеты о каких-то гламурных попойках. Некоторое время я по инерции продолжал еще выписывать эту газету, хотя и чувствовал, что скатываюсь вместе с ней вниз по лестнице эволюции. Газета же месяц от месяца дорожала и за мои деньги толстела, пополняясь всевозможными бессмысленными вкладками и приложениями. Дом мой стал напоминать пункт приема-сдачи макулатуры.

Наконец терпение мое лопнуло, и я решил подыскать себе другую, более respectable газету. Однако при всем современном изобилии периодики, а может быть, как раз по причине этого чрезмерного изобилия поиски мои затянулись. Обыватель тоталитарной эпохи, полиставши нынешние газеты, решил бы, наверное, что его держат за идиота. На самом деле нынешние газеты вообще не имеют в виду никакого обывателя. Их читает главным образом так называемый «пипл», что по-американски означает «народ», а по-нашему «быдло».

И все же мое упорство было вознаграждено – я нашел ту именно газету, какую искал. Не скажу, как она называется, чтобы не делать ей бесплатную рекламу, но газета очень хорошая. Не левая, не правая, не проправительственная, не анти; серенькая, без рекламы и без рож представителей шоу-бизнеса. Надежная обывательская газета. Однако, наученный прежним

опытом, я не стал оформлять с ней официальные отношения в виде подписки. Вместо этого я приучил свою жену Тамару покупать мне ее в киоске возле метро по пути с работы.

Кто-то, возможно, скажет, что читать какую бы то ни было газету в наши дни можно только в ритуальных целях. Сорок программ телевидения и Интернет снабжают нас информацией круглые сутки, так что за ней не надо даже спускаться к почтовому ящику. Не стану спорить. Я обыватель, а следовательно, мое существование подчинено ритуалам. Без ритуалов жизнь моя начинает казаться мне пустой и никчемной. Для примера скажу, что, когда Тамара от меня ушла и стало некому покупать мне мою газету в киоске у метро, тогда у меня случилось нечто вроде депрессии. Я пил свой утренний кофе, тупо разглядывая холодильник, без аппетита обедал, а вечерами глушил водку, чтобы только заснуть. К телевизору, излучающему дебильный рекламный оптимизм, у меня образовалось стойкое отвращение, так что я к нему даже не подходил. Компьютер я тоже не включал, чтобы он не напоминал мне о работе.

Без газеты я совершенно одичал, потерял счет дням и выпал из мирового политического процесса. Разумеется, так не могло продолжаться до бесконечности. Я уже готовил себя к тому, чтобы рискнуть и все-таки подписаться на эту свою газету. Либо заставить себя ходить за ней ежедневно к киоску у метро, что, конечно, было бы глупо и нерационально. Проблема заключалась в том, что всякое действие по собственному обустройству означало бы с моей стороны признание, что я действительно перешел на холостое положение. Такое признание означало бы окончательный крах всех моих обывательских иллюзий, а я с ними никак не хотел расставаться. Мне по-прежнему казалось, особенно по вечерам, что вот-вот сейчас откроется дверь и в дом войдет Тамара и принесет мне мою газету.

Тем не менее что-то надо было решать, и решение во мне почти уже созрело. Однако какое это было решение, я теперь не помню, потому что принимать его мне тогда не пришлось по независимой от меня причине. Дело в том, что мои размышления по поводу газеты и не только были прерваны неожиданным телефонным звонком из одного литературного клуба. Меня приглашали на встречу с читателями. Я сказал, что звонок был «неожиданным», но лишь потому, что я был тогда сильно отвлечен этими сложностями с газетой и другими неписательскими проблемами. А вообще-то, все московские литераторы ждут таких звонков и с радостью на них откликаются, так как думают, что встречи с читателями прибавляют им популярности. Из литераторов для клубов предпочтительнее поэты, потому что у поэтов больше харизмы, а из клубов для литераторов – те, которые прилично угощают. В этом смысле клуб, куда меня пригласили, был на хорошем счету, и я с радостью дал согласие.

Позабыв на время все свои обывательские печали, я с головой ушел в приготовления к творческому вечеру. Первым делом мне надо было найти свои парадные брюки и очистить их от пятен, посаженных на прошлом фуршете. Это оказалось непросто, потому что раньше мои штаны всегда искала и чистила Тамара. К тому же предыдущий творческий вечер был у меня довольно давно, так что пятна порядком засохли. Дальше – проще; вымыть голову и побриться я умел сам, и делал это даже чаще, чем встречался с читателями. Других косметических процедур моя внешность не требовала – в этом отношении мы, писатели-мужчины, имеем преимущество перед коллегами женского пола, которым приходится много трудиться и зарабатывать, чтобы оплачивать массажистов, визажистов и т. д.

Мероприятие было назначено на семь вечера, но я, поскольку не пользуюсь наземным транспортом, приехал на эту встречу с собой, как всегда, загодя. Чтобы не напрягать организаторов вечера своим слишком ранним появлением, я не вошел сразу в клуб, а остался покурить на крыльце. Постепенно начала подтягиваться публика. Мужчины и женщины разных возрастов, но все читательского вида, проходили в двери, не обращая на меня никакого внимания. Только один господин, наверное завсегдагой клуба, подошел ко мне и, вежливо отодвинув меня плечом, стал читать объявление, которое я, как оказалось, загораживал.

– Кто тут у нас сегодня?... – пробормотал он. – Ага.

В объявлении было сказано, что сегодня у них я. Господин посомневался немного, но все-таки проследовал в клуб.

Наконец, выкурив две сигареты, я решил, что уже прилично будет войти и мне. К чести организаторов, они узнали меня, едва я вошел, и сразу отвели в особую комнатку, чтобы обсудить со мной формат предстоящего вечера.

– Вы курите? – спросили они, наливая мне кофе. – Если да, то курите.

Чтобы не обидеть любезных организаторов, я закурил сигарету – третью за последние двадцать минут.

За кофе мы пообщались сначала на деловой, потом на светской волне. Что бы я ни сказал, организаторы выслушивали с заинтересованным видом, правда время от времени, извинившись, кто-то из них отлучался из комнатки посмотреть, что делается в зале. А зал, судя по их докладам, продолжал наполняться. Этому обстоятельству организаторы были заметно удивлены.

– Вообще-то, на прозаиков у нас ходят не очень, – сказали они мне. – Да вы, конечно, и сами это знаете.

Вместе мы стали строить предположения, чему приписать небывалое стечение публики, и пришли к выводу, что мне надо благодарить французского писателя Уэльбека. В тот вечер он по неизвестным причинам отменил свое выступление в Москве и, сам того не желая, поделился читательским вниманием со мной.

И вот час мой пробил. В сопровождении организаторов я вышел в зал. Народу в нем было пятнадцать, а то и все двадцать человек. Кто из них были поклонники Уэльбека, а кто мои, разобрать было невозможно. После того как стихли аплодисменты, юноша, ведущий вечер, представил меня и, справляясь у себя в блокнотике, перечислил мои заслуги перед отечественной словесностью. Закончив, он передал мне микрофон, и я тоже немного рассказал о себе. Затем, согласно оговоренному нами формату вечера, я раскрыл книжку со своим последним произведением и стал читать читателям вслух. Дальше все происходило так, как обычно. Сначала публика реагировала адекватно тексту, то есть смеялась в смешных местах, а в несмешных сидела тихо. Но постепенно внимание слушателей ослабевало; некоторые уже шушукались, прикрывая ладошкой рот, другие искали что-то в своих сумках. Наконец один из читателей не выдержал, встал и, согнувшись, словно в кинотеатре, вышел на скрипящих ботинках из зала. Это был для меня знак. Я захлопнул книжку и предложил оставшимся задавать мне вопросы. Публика слегка оживилась.

Первый вопрос был, естественно, о том, как я отношусь к Уэльбеку. И это был единственный нетрадиционный вопрос за весь вечер, кроме последнего, о котором я скажу ниже. В этом отношении, к слову заметить, наша читательская общественность не блещет разнообразием: что прозаик ни напиши, вопросы к нему будут одни и те же. Думаю, перечислять их здесь не имеет смысла – ведь вы, читающие сии строки, раз уж вы их читаете, сами эти вопросы и задаете. Но так бывает, если на встречу с писателем не приблудится некто литературе совсем посторонний, человек, что называется, с улицы. А на моем вечере без такого персонажа не обошлось.

Этот тип не имел никакого отношения ни ко мне, ни к Уэльбеку. Правда, пока я добросовестно по трафарету отвечал на трафаретные читательские вопросы, он ничем себя не проявлял. Но когда наша приятная беседа подошла к концу, когда ухо мое слышало уже отдаленный звон бокалов, тогда-то он и поднял руку.

– Скажите, пожалуйста, – спросил человек с улицы, – что вы думаете по поводу разразившегося в мире финансового кризиса?

После секундной паузы зал дружно расхохотался.

– Здесь у нас не экономический форум, – юноша-ведущий уничтожающе посмотрел на человека с улицы. Тот покраснел и вжал голову в плечи.

– Я только спросил... – пробормотал он.

В этот момент мне захотелось пожалеть его – чисто по-обывательски. Но я, конечно, не подал виду.

– Видите ли, уважаемый, – сказал я со снисходительной усмешкой, – кризис, о котором вы спрашиваете, он для меня как бы не существует. Дело в том, э-э... что я не читаю газет.

Публика в зале хихикала и вытягивала шею, чтобы рассмотреть несчастного осрамившегося гражданина. А мне было немного совестно и за публику, и за свою усмешку. Человек с улицы высидел весь этот скучный вечер, чтобы задать свой единственный и, может быть, выстраданный вопрос. А если у него в каком-нибудь банке сгорели все его трудовые накопления и он пришел сюда спросить у писателя, как ему жить дальше? И что же он услышал в ответ? Высокомерное: «Я не читаю газет»! Почему же я не сказал ему, что газет не читаю оттого, что их стало некому мне приносить, что меня бросила жена и что в жизни моей тоже разразился кризис, в котором сгорели многолетние мои душевные накопления? Если бы я все эти дни не сидел, упиваясь своей трагедией, а читал газету и размышлял о финансовом кризисе, то сейчас, возможно, у меня нашлось бы, что сказать в утешение человеку с улицы. А у него бы нашлись слова утешения и ободрения для меня.

Но чуда не произошло. Творческий вечер завершился так, как ему и полагалось. Я подписал с десяток собственных книжек, а когда благодарные читатели наконец разошлись, распорядители позвали меня в ту самую особую комнатку, где угостили за счет заведения. Начали мы с очень горячего, но жидковатого глинтвейна, а закончили, конечно, водкой. На закуску была селедка «под шубой». Так в расписании московской культурной жизни поставлена была нежирная, но все же галочка.

С тех пор прошло уже года два. Конечно, я давно взял себя в руки, выписал себе газету и ежедневно ее читаю. За истекший период у меня состоялись еще две или три встречи с читателями, но ни на одной из них мне больше не попался тот человек с улицы. Тем не менее я регулярно слежу за колебаниями биржевых курсов – на всякий случай.

Лелик, танцуй!

Вот он и снова пришел в Москву – настоящий осенний дождик. Я узнаю о нем не по грому и молниям, не по реву низвергающихся вод, а по тихому таинственному шепотку, по шуршанию и шелесту, раздающимся в темноте за окнами. Словно тысячи паучков на тоненьких чутких ножках прокрались в город и щекочат, ощупывая каждую его подробность. Но не сплести им тумана. Завтрашнее утро будет холоднее ночи; от дождя останутся только лужи да медленные студёные ручьи. И никто не пустит кораблика по этим ручьям, потому что за лето все дети выросли.

Сурина наша осень; она моет город без мыла, трет его шершавым мочалом туч. И знать не знает Москва, что уготовано ей после помывки – уложат ее в свежую белую постельку или выставят голой на мороз.

Я узнаю этот дождик по тихому медитативному постукиванию. Что он хочет – ввести меня в транс или о чем-то напомнить? Некоторые авторы говорят, что в дождь им хорошо работается. Другие – что спится. Я не решаюсь, что выбрать.

Окно снаружи обрызгано множеством маленьких недоразвившихся капель, слишком слабеньких, чтобы пуститься в дорогу по запыленному стеклу. Они так и будут дрожать на ветру, пока не высохнут, не растворятся опять в атмосфере, оставив лишь оспинки минерального осадка. Теперь до весны.

Крыши разных построек, жестяные «ракушки», тротуары – все внизу блестит, словно впрыснуто лаком. Двор будто выделали «под хром». Прямо подо мной на газоне искрится россыпь пустых бутылок и разноцветных жестяных банок. С давних пор этот газон под моими окнами сделался чем-то вроде форума для нашей местной молодежи. Здесь юноши и девушки от тринадцати лет принимают энергетические напитки, грызут орешки, курят, сквернословят и на забавном молодежном языке судачат о своих делах. Каждое утро дворники-таджики собирают с газона невообразимый урожай мусора, и каждый вечер неутомимые подростки засевают его снова. Прогнать их с излюбленного газона может только дождь или град. Я назвал их подростками, но это определение подходит не ко всем из них. Многие из здешних завсегдатаев успели на моих глазах вырасти и даже завести животики. Под задами этих бывших подростков металлический заборчик, ограждающий газон, давно потерял свою форму.

Сколькими ночами, особенно летними, я засыпал под их звонкий смех и матерное воркование. А сколько раз мне не спалось и хотелось окатить их с балкона водой, как когда-то матушка моя поступала с котами, разоравшимися в палисаднике. Только слаб я характером для такого поступка – сегодня за меня подростков разлил дождик, а я не знаю, радоваться мне или нет. Нахальное, оговорчивое, непослушное племя младое покорило стихии и разбрелось по домам, чтобы остаток вечера провести за компьютерными стрелялками.

Опустел молодежный «пяточок» – только Лелик, наш дворовый дурачок, один-одинешенек танцует посреди него в фонарном свете. Изящно ступая между разбросанных бутылок, он танцует на мокром газоне – и танцует хорошо. Вдохновенное его соло питается музыкой – музыкой, слышной лишь одному Лелику. В ушах его два маленьких динамика, а где-то под курткой, у сердца, спрятан плеер, с которым Лелик не расстанется нигде и никогда.

Когда-то, благодаря этому плееру, не только в душе его, но и в общественном положении совершилась великая и счастливая перемена. Купив Лелику такую не по уму игрушку, родители его, сами того не подозревая, оказали сыну благодеяние, второе по значимости после того, как, тоже, впрочем, случайно, подарили ему жизнь.

Когда отец вправил Лелику в уши динамики, а потом нажал на плеере заветную кнопочку, окружающий мир перестал для мальчика существовать. От уха до уха музыка заполнила его голову целиком. Пытаясь выразить охвативший его восторг, Лелик взревел, но был останов-

лен родительским подзатыльником. Вскоре он и сам сообразил, что собственный его голос не добавляет музыке гармонии. Что-то, но уж точно не родители, подсказало Лелику иной способ выражения чувств – пластический.

Так он начал танцевать и, подобно всем дурачкам, отдался этому увлечению целиком и полностью. Лелик танцевал дома, пока родители были на работе, танцевал по дороге в магазин и обратно, танцевал во дворе на потеху другим, нормальным, подросткам. Но, между прочим, потешаясь над ним, эти дворовые подростки не заметили того, как приняли Лелика в свою компанию. Раньше они гнали его от себя, как гонят все дети тех, кто тупее или умнее, чем они сами, но теперь, когда Лелик затанцевал, вдруг оказалось, что и он может быть им полезен. С ним было не так скучно коротать время, когда у подростков временно иссякали темы для трепа или когда задерживался «гонец», посланный в магазин за пивом. Танцующий Лелик стал даже отличительной особенностью их компании – в других компаниях, в других дворах такого чудика не было. Теперь, если наши подростки отправлялись куда-нибудь прошвырнуться, они вели его с собой, как цыгане медведя.

С тех пор жизнь у Лелика стала гораздо интереснее – он перепробовал разные чипсы, узнал вкус пива и джина-тоника. Но главное – ему теперь кажется, что хотя он и не такой, как все, но уже не отверженный, что он нужен людям. Они, люди, больше не отвешивают ему походя пинков и затрещин, а если отвешивают, то для того только, чтобы попросить: «Лелик, станцуй!» И Лелик танцует. Даже когда, как сегодня, случаются непогода и дождь, он танцует – без публики, без затрещин, сам для себя.

Я смотрю на него и завидую. Завидую, потому что нет у меня волшебного плеера, а танцевать надо. Вчера я получил от издательства хорошего пинка – намек на то, что пора дописывать книгу. Беда только, что я не Лелик и от пинков у меня вдохновения не прибавляется. Да и дождик, надо признаться, больше располагает меня ко сну, чем к работе.

Финал

Хороший сон – лучшая профилактика неврозов. Я это знаю, потому что до конца прочитываю еженедельничек с телевизионной программой. Не все готовы в этом признаться, но думаю, что подобных мне углубленных пользователей у таких журнальчиков немало. Утратившие актуальность, но не выброшенные, эти непритязательные медиа еще некоторое время разделяют с нами наше утреннее или вечернее вынужденное уединение. Теленеделя прожита и забыта, но они в тишине продолжают снабжать нас разными сведениями, имеющими непреходящее значение. В частности, в моем журнальчике между кулинарными рецептами и гороскопами есть медицинская страничка, на которой помещены рекомендации о том, что делать при болях в животе, как уберечь стопы ног от грибка и тому подобное. Голова там тоже не бывает забыта – борьбе с перхотью и правильному подбору зубной щетки составители странички всегда уделяют должное внимание. Много полезных советов содержит медицинская страничка, но, к сожалению, о душевных недугах она, на мой взгляд, трактует недостаточно. «Хороший сон – лучшая профилактика неврозов». И все. Сказали бы еще: «Утро вечера мудреней».

Что ж, пусть так; поговорим о хорошем сне. Господа составители странички утверждают, что хороший сон – это правильный сон. А правильный, говорят они, это когда человек ложится спать до полуночи, а наутро просыпается естественным образом, то есть сам, без будильника, и не от того, что его вытаскивают из постели за ногу. Таким образом, получается, что, если вы вечером лишите себя хорошего кино, которое у нас всегда показывают за полночь, а утром вскочите ни свет ни заря, это и будет для вас правильный сон. Правда, трель будильника все равно вас догонит, только вы не сможете ее заткнуть, потому что застанет она вас в то самое время, когда вы уже пребываете в обществе тележурнальчика.

Кроме того, составители медицинской странички помогут вам с выбором подушки, а также подскажут, как с помощью практики фэн-шуй сориентировать ваше ложе по сторонам света. Если вы исполните все их несложные рекомендации, они гарантируют вам правильный сон и отсутствие неврозов. Но господа составители не учитывают еще одного важного условия. Покойная моя матушка, помнится, говаривала: «Хорошо спится тому, у кого совесть чиста». Совесть! Ее чистоту она ставила впереди чистоты рук. Что бы она ни делала, все делала с чистой совестью – даже драла меня за уши. Впрочем, составители журнальчика матушки моей не знавали, как и забытой ныне практики «жить по совести».

Что касается меня, то я сплю долго и крепко. И совесть моя чиста настолько, насколько это прилично для интеллигентного человека. А на грани невроза я оттого, что мне надо заканчивать книжку. Я знаю, что эту книжку ждет не дождется вся читающая публика, но что гораздо страшнее, ее ждут мои издатели. Однажды эти добрые люди выплатили мне аванс, а с меня взяли расписку в том, что я к такому такого-то сего года, кровь из носу, напишу книгу. Представляете? – книгу! С авансом я покончил давно и успешно, но вот с книгой пока не получается. А такое такого-то уже на носу, из которого, того гляди, и вправду пойдет кровь. Но только носовой кровью книжку все равно не напишешь.

И почему у меня все не как у других? Лошадь прищпоривает, почуяв конец пути; пароход при виде портовой гавани торжествующе трубит. Мне же последние метры моих строчек даются всего тяжелее. И дело не в том, что я устаю писать, – напротив, я с великой радостью, получая аванс за авансом, начинал бы книжку за книжкой. Нет, я люблю писать книжки, я только с трудом их заканчиваю. В конце их – я лошадь, собравшая на свои копыта всю глину дорог; я пароход, намотавший на винты свой океан.

Между тем, с точки зрения журнальчика, со мной все в порядке. Я встаю без будильника, сам. Дальше тоже все сам. Потом совершаю с Филом моцион – сам-второй, но безо всякого над собой насилия. Жизнь прекрасна ровно до той минуты, когда я сажусь за компьютер. А когда

я сажусь за компьютер, кто-то словно бы подсаживается рядом и, едва рука моя потянется к клавиатуре, хватает меня за локоть. «Подумай, – шепчет мне этот кто-то, – подумай еще раз. Финал – это такая ответственность...» Как же он мне надоел! Такое такого-то на носу; тут либо думать, либо писать...

И о чем мне, собственно, думать? Или я не знаю, как пишутся и как завершаются книжки? При желании я за десять минут могу сочинить десять финалов. Мне только мешает странный, я бы сказал, неписательский предрассудок. Я, видите ли, полагаю, что хороший финал нельзя сочинить. Хороший финал, он должен наступить сам, естественным путем.

Книжке закончиться – это как человеку проснуться. Таков уж мой творческий метод – нагородивши двести машинописных страниц бессвязного текста, я жду финала, как спасения, как счастливого пробуждения. Вот явится он откуда-то (но только не из моей головы!) и все объяснит, все расставит по местам, и сложатся мои листочки в стопку, и соберется из них книжка. И можно будет налегке приниматься за другую.

Только когда это случится и откуда мне ждать его?... Бледен лик моего компьютера, ни кровинки в нем. Напрасно я всматриваюсь в экран – он и меня-то не отражает. Час за часом машина бесстрастно ждет – она готова выпить из меня все до строчки, сама же не подарит ни одной. Не больше смысла смотреть в окно: небо сегодня такого же серо-белого цвета, как вордовская пустая страница. В открытую форточку тянет, будто из подпола, сыростью и крысиным писком каких-то расскандалившихся во дворе баб... При подобных обстоятельствах надеяться на счастливое озарение может только патологический оптимист.

Впрочем, я и не надеюсь – только страх перед моими издателями удерживает меня за рабочим столом... Кстати, вместо того, чтобы сидеть просто так, я мог бы сделать что-нибудь полезное – например, сварить Филу кашу и себе борщ. Я, знаете, все-таки научился варить правильный борщ – Тамара пробовала и хвалила. Она иногда ко мне приходит, правда чаще во сне. Когда снится бывшая жена, это хороший сон, хотя и грустный. Наверное, здесь нет ничего удивительного, но с тех пор, как она от меня ушла, ко мне вернулись юношеские волнительные сны. Хорошие сны, только вянут быстро; аромат их нестойк и в прозе не закрепляется... Челюсти мне сводит зевотой. А в самом деле – не лечь ли мне вздремнуть? Не забыться ли мне неестественным в это время суток, после кофе безумием отдающим сном?

Я встаю из-за стола, потягиваюсь и в это мгновение, конечно же, привычно теряю сознание. Бедный мозг мой внезапно обескровлен; я ослеп, оглох, но, подобно самураю с отрубленной головой, не падаю, а остаюсь на ногах. Несколько секунд блаженного безмысленного опьянения, и вот уже сознание возвращается ко мне, освеженное своим недолгим побегом. Однако за время краткого моего беспомысленности что-то изменилось в окружающей действительности... Что? – этот звук – я узнаю его: так звонит телефон.

– Алло-э-у... – слово само провоцирует зевок.

Трубка реагирует саркастическим смешком:

– Спишь, как всегда?

– Нет, милая, не сплю. Когда же мне спать, ты знаешь, у меня срочная работа.

Но Тамаре все равно, сплю я или срочно работаю. У нее ко мне важный, очень важный не телефонный разговор. Она звонит, чтобы назначить мне встречу – где-нибудь в городе, разумеется, поближе к ее конторе, потому что она человек занятой, а я нет.

– Да, милая... хорошо, милая... Конечно, приеду, хотя, как ты знаешь...

На самом деле в душе я рад ее звонку, рад неожиданному отвлечению. Теперь можно отложить проблему финала, потому что где-то в реальном мире возникла реальная проблема, а когда я думаю о реальных проблемах, разум мой отдыхает. Свернуто на компьютере вордовское окно, вместо него висит пасьянс; я щелкаю карты и строю предположения о том, что бы такого нетелефонного могло случиться у Тамары. Вообще-то, мне сейчас полагается тревожиться; я и вправду немного встревожен, зато моя мысль резвится, сбросив ярмо писательской

сверхзадачи. В голове роятся сюжеты один нелепее другого. Дмитрий Павлович разорился и пустил себе пулю в лоб. Или попал под следствие за какие-нибудь махинации, без которых, я уверен, в его бизнесе не обходится. Или он просто напился пьян и побил Тамару. Чего только не случается в семьях новых русских... Впрочем, Тома должна была знать, на что шла. «Теперь ты понимаешь, на кого меня променяла? То-то же...» – без отрыва от пасьянса я сочиняю наш предстоящий разговор. Мои обличения, Томины запоздалые слезы – просто бери и клади все на бумагу. За этим творческим занятием время бежит незаметно, и вот уже пришла пора отправляться мне на свидание.

Каждый свой выход из дому я стараюсь совмещать с выносом мусора. Что бы ни ждало меня там, в городе, – я совершил уже одно маленькое, но полезное дело. Мусор, который вчера еще не был мусором, падает, грохоча и кувыркаясь, в трубу. Я еще вернусь к себе, а он уже нет. Дальше, как обычно, лифт, Насир – последние вехи устойчивого бытия.

Но едва я попадаю на улицу, как всякой устойчивости приходит конец. Не успев еще толком осмотреться, я обнаруживаю, что на меня с шипением прет какая-то удивительная машина. Асфальтоукладчиком – или что это такое? – невообразимо сложным этим агрегатом правит, сидя с гордым видом на верхотуре, смуглолицый азиат. Ах, шайтан! Прыгаю в сторону, не то закатает меня в асфальт и не заметит.

Прыжок получается хорошо – ноги мои просят работы после долгого бездействия. Шаг мой легок, пружинист. Зорек глаз. На детской площадке, мимо которой лежит мой путь, гуляют мамочки с младенцами. Когда они склоняются над колясками, то груди их, полные молока, призывно качаются. Надо запомнить... или я уже где-то о них писал?...

До метро еще далеко, но гравитация его уже чувствуется. В поле его притяжения человеческое хаотичное движение обретает доминирующий вектор. Стуча каблучками или шаркая стертymi подошвами, с прискоком или с одышкой, люди идут все в одном направлении, выстраиваясь в цепочки, обтекая и подпихивая друг друга. Мы – москвичи; нас рожало метро, и мы снова и снова стремимся укрыться в его материнском чреве. Мы находим лишь нам понятное успокоение в этом гвалте, в непрерывной оглушительной перистальтике содрогających, выпускающих ветры каменных кишок. Ушлые и пугливые одновременно, ко всему и всем недоверчивые горожане, мы верим только ему – самому надежному в мире московскому метро. Здесь, под землей, назначаем мы наши свидания и здесь, я уверен, мысленно зачинаем новых маленьких москвичат. А когда придет конец света, нам не понадобится срочно закапываться в пещеры – мы без паники по эскалаторам спустимся сюда, как в заранее приготовленную общую могилу, и с молитвою или без, но спокойно примем тут свою судьбу.

А на встречи, назначенные в метро, надо приходиться загодя. Ведь это так увлекательно – вжавшись в какую-нибудь колонну, минута за минутой терпеливо всматриваться в человеческие лица в ожидании, когда из невероятного ассортимента носов, ушей, улыбок и глаз сложится вдруг единственный дорогой тебе образ.

И еще мне нравится, как люди в метро разговаривают – словно горские пастухи, разделенные пропастью, они выбирают главные, ключевые слова, чтобы проорать их во всю мочь легких... К соседней колонне притиснута девушка – обвив ее тонкими юношескими руками, друг кричит ей о своей любви.

– Что?... – переспрашивает девушка. – Что ты сказал?...

Все-то она прекрасно слышит, а не слышит, так давно уже прочла по губам, по глазам его...

На станцию врывается очередной – который уже – поезд, и шлюзы дверей его, разом распахнувшись, изливают на платформу новые людские потоки. И совершается наконец ожидаемое чудо: потоки эти прямо в мои объятия выплескивают Тамару. Она подставляет для поцелуя щеку, потом поправляет шапочку. Взгляд у нее какой-то неуверенный... Ну кричи, дорогая,

что у тебя стряслось... Но Тома медлит, она не может так сразу; похоже, ей надо собраться с духом, и что-то у нее с шапочкой... Кончается тем, что шапочка сорвана с головы совсем.

– Я беременна! – слышу я сквозь грохот поезда.

– Что?... Что ты сказала?

– Я беременна, – беззвучно повторяет Тамара.

Вот это новость так новость! Я в шоке; я припадаю к спасительному устою колонны, чтобы удержаться на ногах. Тома, моя Тома! Сейчас мне кажется... я начинаю понимать, что потерял тебя окончательно. Ребенок, которого зачала ты с Дмитрием Павловичем, – этот ребенок, которым ты беременна, он-то и разлучит нас навеки...

Должно быть, я плохо выгляжу.

– Что с тобой? – тревожится Тамара.

– Ничего, ничего... Пройдет...

– Ну, раз ничего, слушай дальше. Я беременна от тебя.

– Где-то здесь была лавочка... Пойдем, милая, присядем.

Хорошо, что у меня крепкая психика. То, что она говорит, немислимо...

– Ты уверена... уверена, что не от него?

– Во-первых, Дмитрий Павлович не может иметь детей – это медицинский факт. А во-вторых...

Достаточно и первого медицинского факта, но Тамара с женской обстоятельностью излагает их все подробно. Я ее уже не слушаю... Я пытаюсь понять: ведь до того, как она от меня ушла, а потом мы снова, тайком от Дмитрия Павловича, стали встречаться, – до всего этого мы были женаты. Долгие годы мы прожили с ней в браке, порой счастливом, но, увы, бесплодном. Тема отцовства-материнства недаром отсутствует в моей прозе. Вот, может быть, теперь...

Я охвачен странным чувством какой-то незаслуженной радости. С чем сравнить это ощущение? Представьте себе, что у вас нечаянно, сама собой написалась книжка.

...А метро между тем продолжает неумолимо пульсировать. Словно капсулы циклопической пневмопочты, голубые составы один за другим выскакивают из правой трубы и после короткой паузы втягиваются в левую, оставляя на перроне часть своего живого груза. Чрево станции то набухает, то выталкивает из себя людские массы. В этом подземном мире все пребывает в движении... все, кроме нас с Тамарой. Только мы двое уже невесть сколько времени являем собой неизменную его константу. Над нашими головами – беленые прикопченные своды цвета декабрьского неба; под нами – лавочка, отполированная множеством московских поп. Сами же мы напоминаем вписанные в интерьер две небольшие скульптуры. На станциях побогаче такие фигуры отливают в бронзе, чтобы проходящие мимо могли приложиться к ним на счастье.

Октябрь 2008